СОЛНЦЕВА М.В.

ПЕПЕЛ БЫЛОЙ ПАМЯТИ



Маргарита Солнцева

Пепел былой памяти

«Автор»
2026

Солнцева М. В.

Пепел былой памяти / М. В. Солнцева — «Автор», 2026

Гоибниу — кузнец в городе Гарм, где оружие куют из пепла сожжённых воспоминаний: заказчик платит не монетами, а тем, что помнит, и уходит, забыв отданное. Гоибниу помнит всех своих заказчиков — единственный в городе, кто хранит чужое. Однажды к нему приходит женщина в сером плаще и приносит смертный пепел, который остаётся от последнего воспоминания человека, а на дне мешочка лежит бумажка с именем самого Гоибниу. Он узнаёт, что двенадцать лет назад заплатил за обучение всем, что помнил о себе, и что из его имени выйдет нож, который режет то, чего владелец не помнит. Гоибниу всё равно берётся за работу: ему нужно вспомнить, кем он был до Гарма, и понять, кто и зачем носит ему назад его собственную жизнь.

© Солнцева М. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Имя, которое сгорело 6
Глава 2. Что носят в мешке 12
Глава 3. Кто делал птиц 17
Глава 4. Второй сорт 22
Глава 5. Счёт за хранение 28
Глава 6. Горсть третья 34
Глава 7. Что стоит гвоздь 39
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Маргарита Солнцева
Пепел былой памяти

Тёмное фэнтези

Пепел былой памяти

Солнцева М.В.

Кузнец Гоибниу куёт клинки из пепла сожжённых воспоминаний. Платить за такую сталь приходится тем, что дороже денег, — и однажды в его горне оказывается его собственное имя.

Главные герои: Гоибниу — кузнец лет тридцати двух, лучший в Гарме, человек с аккуратной пустотой вместо детства. Женщина в сером плаще — собирательница проданного: она ходит по городам и подбирает в подах и в шлаке то, что люди продали, а кузнецы не дожгли. Отдельно стоит старик, отдавший тридцать лет за кольчугу сыну и теперь не узнающий сына, — первый, о ком Гоибниу вспоминает за работой. Второй круг — сам город: старший мастер цеха Бальтазар Крам, который требует у Гоибниу родню; скупщик шлака Курт, у которого память идёт на сорта; слепая прачка Мальвина из Заречной, у которой мальчишка в подпалинах грел обожжённые руки; писарь Ганс, который записывает возвращённое в тетрадь без записи в городской книге.

Глава 1. Имя, которое сгорело

Гарм просыпался дымом. Не тем дымом, что идёт от кухонных очагов и мокрых дров, а другим — плотным, серебристым, с горькой ноткой, от которой першит в горле. Так пахнет пепел чужих воспоминаний, и в этом городе на него никто не жалуется: здесь им топят горны, им платят за работу, им лечат лихорадку и порчу. Гоибниу открыл ставни и впустил утро в кузницу. Пепел лежал на подоконнике ровным слоем, будто снег, и на нём уже кто-то оставил след — маленький, узкий, будто прошла девушка в мягких сапогах.

Он не стал выглядывать на улицу. Улица Гвоздей никогда не приносила хороших новостей до полудня, а кузнецу нужны спокойные руки. Гоибниу разжёг горн, подождал, пока пламя перестанет метаться, и высыпал в него первую мерку — тусклую, серую, принесённую ещё вчера вечером. Клиент, дородный торговец пряностями, платил за нож не монетами, а этим: неделей на море, когда ему было одиннадцать, и ветром в парусах. Мальчиковая радость сгорала быстро, почти без искр, и в горне остался ровный белый свет — такой ровный, что можно резать по нему, как по воску.

Работать с чужим пеплом невесело, но честно. Ты знаешь, что человек отдаёт, и знаешь, что он этого больше не вспомнит: не вспомнит ветра, не вспомнит, как пахло смолой, не расскажет об этом внукам. Торговец придёт за ножом, похвастается им в трактире и не заметит, что в нём лежит кусочек его собственного детства. Так устроен Гарм. Так устроена плата, которую здесь называют серебром.

К девяти пришёл второй человек, и это был мальчишка.

Он вошёл боком, как входят в чужой двор, и остановился у порога, потому что по полу кузницы не ступают: на полу пепел. В руке он держал мешочек, завязанный на два узла, и держал его так, как держат чужое.

— Гвоздь, — сказал он. — Сотню. Мать велела.

— Что в мешке?

— Не знаю. Мать насыпала.

Гоибниу развязал. Пепел был светлый, ровный, ещё тёплый, будто его сгребли с очага вчера, и по нему сразу было видно, что он хозяйкин: такой берут не из сундука, а из-под заслонки. Такое приносят чаще всего — не годы, а утро; люди в Гарме не замечают, как отдают утро, потому что утр у них много и все одинаковые.

— Здесь на двадцать гвоздей, — сказал он, взвесив горсть на ладони. — И то впритык. Сотни не выйдет.

Мальчишка не удивился и не расстроился, только переложил мешочек из руки в руку, будто тот стал тяжелее.

— Мать лежит третий день, — сказал он. — У нас воды нет. Колодец за домом, а дом за моей спиной, я и хожу.

Гоибниу снял с гвоздя ведро, в котором держал готовое, отсыпал полную горсть и стукнул ею по наковальне, чтобы обошлось без спора.

— Возьми. Это не за мерку, это за то, что дошёл.

— А пепел?

— Пепел забери. — Гоибниу ссыпал горсть обратно в мешочек и завязал его двумя узлами, как завязывал всем: чтобы человек дома развязывал долго и, пока развязывает, подумал ещё раз. — Скажи матери: кузнец не взял и не возьмёт. Пусть лежит и ничего больше не отдаёт. И вот что, — он придержал мальчишку за плечо, — скажи, что она мне должна. Не гвозди: гвозди я дарю. Пусть помнит, что должна.

Мальчишка ушёл. Гоибниу смотрел ему вслед и знал про этот счёт то, что в Гарме знали все и не говорили вслух: у детей не берут — не из милости, а по арифметике. Детское годится

на гвозди и ложки, ложка стоит копейку, а детство стоит дороже, и мастер, который взял с ребёнка, в тот же год идёт по миру, потому что за ребёнком приходят родичи. Но держало Гоибниу не это. Держало то, что он, единственный в городе, умел помнить долг, за который ничего не взял.

Мерил он тоже по-своему. Мерка у него была медная, с пробитым дном, в четверть кулака — городская, та самая, которой отмерили ему двенадцать лет назад, и он держал её не в горне, а на полке, рядом с напильниками, потому что мерка — это не посуда, а совесть: её нельзя перековать. Горсть он сверял с меркой, потом с весом, потом ещё раз на глаз, и, если выходило на грош больше, чем нужно, он отсыпал обратно, а если меньше — просил добавить, и люди добавляли. Двенадцать лет у него не было ни одного спора о плате, и это в городе помнили, и это в городе считали странностью.

Тот долг он записал куда следует — в собственную голову, в список, который вёл с первого года и в котором ни разу не сбился.

Мелочь он держал иначе. Под подоконником, у самого косяка, в сосновой доске были насечки — короткие, в палец, гвоздём по волокну: каждая означала человека, которому он что-то дал даром. Одиннадцать насечек за двенадцать лет; за этот год он сделал двенадцатую, и доска в этом месте обросла заусенцами, потому что нож у него был не для дерева. Он не вырезал имён: имя в дереве читается всяким, а он не любил, когда в его счёте роются. Имена он держал в голове, как держат горячее — быстро и не перекладывая; и потому, когда мальчишка ушёл, Гоибниу знал про него три вещи: что мать его зовут Ирма, что живут они за водокачкой, и что гвоздей ему хватит на крышу сарая, но не хватит на подпол, и он придёт ещё раз, и во второй раз кузнец возьмёт с него плату — не пеплом, так работой, потому что в Гарме за железо платят железом.

К полудню нож был готов. Гоибниу поднял его к свету, посмотрел на тонкую волну узора, идущую вдоль клинка, и невольно подумал о том, о чём кузнецам думать не положено: сколько в городе людей, которые уже отдали ему всё, что помнили. Он знал по имени всех, кто приходил к нему за десять лет. Знал, кто отдал первую любовь, кто — лицо матери, кто — целый год. Один старик отдал тридцать лет своей жизни, чтобы заплатить за кольчугу сыну, и теперь не помнил сына: приходил, разговаривал, удивлялся, что парень так на него похож. Кольчуга была хороша. Гоибниу помнил про неё каждый раз, когда поднимался молот.

Дверь отворилась без стука. Так входят только те, кому уже нечего терять, и те, кому нечего продавать. На пороге стояла женщина в сером плаще с поднятым капюшоном, и под её сапогами не осталось следов на пепле — Гоибниу отметил это прежде, чем успел сказать «добрый день».

— Мне нужен клинок, — сказала она. Голос был ровный, как остывший металл. — Из того, что я принесла.

Он взял мешочек, прикинул вес и невольно сжал пальцы: слишком мало для оружия. Столько пепла остаётся от одного короткого воспоминания — от запаха дороги, от чужого имени, сказанного вслух один раз.

— Этого хватит на нож для письма, — сказал Гоибниу. — Оружия не выйдет.

— Будет, — сказала она. — Развяжи.

Он развязал. Пепел в мешочке был не серый, а тёмно-золотой, и когда Гоибниу высыпал его на ладонь, свет в кузнице сместился, будто кто-то переставил солнце. Такой пепел кузнецы называют смертным: он остаётся от одного-единственного воспоминания, которое человек готов сжечь последним. На дне мешочка лежала сложенная бумажка. Гоибниу развернул её, прочитал три буквы и почувствовал, как холодная дымная влага утра мгновенно перестала существовать — вместе с улицей, молотом, наковальней и всем Гармом.

На бумажке было написано его имя.

Гоибниу положил бумажку на наковальню и придавил её ладонью, будто она могла улететь, как улетает пепел от сквозняка.

— Это моё имя, — сказал он. — Здесь написано моё имя, и пепел смертный. Кто вы?

Женщина откинула капюшон. Лицо у неё было обыкновенное, усталое, как у всех, кто много лет встаёт до солнца: тёмные глаза, сухие губы, седая прядь у виска. В кузнице стало тише — не потому, что она что-то сделала, а потому, что перестал метаться огонь.

— Ты продал его сам, — сказала она. — Двенадцать лет назад, этому горну, этому молоту, этому мастеру, у которого не было ни жены, ни детей. Ты пришёл в Гарм двадцати лет от роду, и тебе нечем было заплатить за обучение. Ты взял мерку. Мастер спросил: «Что отдаёшь?» Ты ответил: «Всё, что помню». Он был честный кузнец и не взял больше одной мерки — оттого ты и сейчас что-то помнишь: руки, работу, вкус хлеба. Но не себя.

Гоибниу не сказал «неправда». Он стоял и слушал, как в нём отзывается это слово — не памятью, а пустотой нужной формы. Он всегда знал, что там дыра, ровная и аккуратная, как след от вынутого гвоздя. Он придумал себе детство: реку, лодку, отца-перевозчика. Он рассказывал это сам себе столько раз, что почти верил.

— Зачем вы принесли это сюда? — спросил он хрипло. — Не для клинка же.

— Для клинка, — сказала она. — Я собираю проданное. Не всё уходит в пламя; часть остаётся — в поду, в шлаке, в пыли на подоконнике. Я хожу по городам и собираю то, что люди продали, а кузнецы не дожгли. Иногда возвращаю. Чаще — продаю дальше, тем, кто заплатит водой и хлебом. А твоё имя я не продам никому. Из него выйдет хороший нож: такой режет то, чего владелец не помнит, и не тупится, пока владелец не вспомнит всё.

Она говорила спокойно, как говорят о дешёвой рыбе. В горне белый свет стоял ровно; Гоибниу чувствовал его локтем, боком, затылком — так чувствуют свет металла, который уже готов и просит формы.

Он попробовал вспомнить то, что она назвала, — и вспомнил всё, кроме того, что нужно.

Он помнил мерку. Он помнил её до последней царапины: как стоял у порога, как не знал, куда девать руки, как мастер молча показал ему на скамью, а сам пошёл к полке и снял с неё эту чашку. Он помнил, что мастер не спросил, откуда он родом, и не спросил, чем платит за обучение, — он спросил только «что отдаёшь», и это был единственный вопрос за все четыре года, который в той мастерской вообще кому-то задавали.

Он помнил руки. Левая с рубцом через костяшки — след от тигля, который мастер перевернул на себя и не крикнул; на правой большой палец был вдвое шире ногтя и жёлтый от молота. Эти руки он узнал бы и через сорок лет, и это было единственное, что от мастера осталось: он не помнил лица, не помнил голоса, не помнил, как того человека звали, — но помнил, как эти руки отмерили горсть и как мастер, отмерив, высыпал её обратно и сказал: «Не беру». Гоибниу тогда спросил: почему. И мастер ответил: «Потому что ты не знаешь, что отдаёшь. Приходи, когда узнаешь».

— Ты помнишь руки, — сказала женщина. Она сидела, не двигаясь, и смотрела на него так, как смотрят на работу, а не на человека. — Это по-нашему. Кто купил, того и помнят: у тебя в памяти не мастер, а его ладони. Значит, ты честно платил и честно брал, и он с тобой тоже. Это редкость, кузнец.

— Я не понял его тогда.

— И не поймёшь. Он умер, а его лицо у тебя забрал кто-то третий, ещё до того, как ты пришёл к нему в мастерскую. В Гарме каждый мастер один раз в жизни взят в дело, как железо. Твой — тоже. Оттого у тебя его руки, и оттого ты двенадцать лет куёшь ровнее всех: в тебя это вложили руками, а не лицом.

Гоибниу опустил глаза, потому что ему стало стыдно за то, что он слушает это спокойно, и увидел её руки. Левая лежала на колене: на ней не было двух пальцев — безымянного и мизинца, — и не было ровного места от среза, какое бывает от железа: так убирают, когда часть

человека в деле и её забирают вместе с делом. Он не спросил, откуда. Она заметила взгляд и не стала прятать руку; она только сказала, как говорят о цене на дрова:

— Двух пальцев нет, это верно. Я за них уже не плачу и не считаю их долгом. У меня нет ни дома, ни родни, ни могил, а значит, и старости не за что за меня взяться, — она помолчала, — но мне не хватает не пальцев. Мне не хватает одного имени. Своего. Оно у меня тоже было и тоже ушло, и по моей работе это не помеха: чужое я узнаю по запаху, а своё мне называть некому. Вы первый за двадцать лет, кто спросил бы.

— И вы не скажете.

— Не скажу, — согласилась она. — Мы с вами оба люди без имени, кузнец, и это, пожалуй, единственная родня, которая у нас в этом городе есть.

— Я выкую, — сказал он.

— Я знала, что ты скажешь это, — женщина чуть сдвинула брови. — Скажи, кузнец, тебе не жаль последнего?

Гоибниу взял бумажку, скатал её в трубочку и убрал за пазуху, туда, где у людей лежат письма от живых.

— Жаль, — сказал он. — Но вам меня не понять. За десять лет через мою кузницу прошло четыреста человек, и все они оставили здесь самое дорогое, что у них было. Я помню их всех. Я — единственный, кто помнит. А кто помнит меня — не существует.

Он поднял молот. Женщина впервые за всё время сделала шаг назад и не стала отвечать. За окном шёл по улице Гвоздей мелкий, серебряный, ни на что не похожий дождь — такой бывает, когда ветер разносит пепел с чужого горна.

Женщина в сером плаще не ушла, а села на скамью у стены, там, где обычно ждали заказчики — те, у кого дело на пять минут, — и сидела так, что её нельзя было не видеть.

Гоибниу держал молот поднятым.

— Опустите, — сказала она. — Я не за тем пришла, чтобы вы у меня что-нибудь отняли. Я пришла сказать, что у вас это уже есть.

— Что у меня есть?

— Имя, — сказала женщина. — Ваше собственное, написанное вашей рукой. Оно в вашем горне, в шлаке, вместе с четырьмястами другими. Я такие вещи узнаю по запаху.

Он тогда не опустил молот. Он стоял и слушал, потому что двенадцать лет учил себя одному правилу: тяжёлое не решают, пока держишь в руках железо.

Про неё в Гарме ходили три рассказа, и все три были неверные. Говорили, что она ведьма; говорили, что она собирает шлак и продаёт его обратно дуракам; говорили, что она живёт у реки и не старится. Правильно было только последнее, и то не целиком: она не старилась не от колдовства, а оттого, что у неё не было своего счёта — ни дома, ни имени, ни могил, — и потому старости не за что было за неё взяться.

— Покажите, — сказал Гоибниу.

Она вынула мешок. Мешок был обыкновенный, суконный, с прожжённой завязкой, и в нём лежали вещи, которые никто никогда не назвал бы вещами: обломок гребня, катушка без ниток, две ложки, обгоревшая бумажка, детская рукавица на одну руку, монета, стёртая до гладкости.

— Это всё, что от них осталось? — спросил Гоибниу.

— Это всё, чем они платили, — сказала она. — Возьмите ложку. У неё была хозяйка, у хозяйки был муж, у мужа была память о том, как они первый раз пришли в этот дом. Он её продал, чтобы купить клинок. Клинок у него отобрали в первом же месяце, а память я подобрала здесь, у вашей наковальни. Так у меня и собирается: я хожу по городам, и в каждом есть кузница, и в каждой кузнице под полом — то, что людям было не нужно.

Гоибниу слушал и смотрел на ложку.

Он помнил хозяйку. Он помнил всех четырёхсот: как они входили, как называли цену и как бледнели, когда называли. Ремесло было устроено честно и жёстко: платить надо было самым дорогим, потому что пепел берёт только такое, и он, Гоибниу, всегда говорил об этом заранее, и никогда никто не уходил обманутым. Он помнил, кто чем платил, — а они не помнили, и это было единственное неравенство в их сделке, и он двенадцать лет считал его справедливым: за клинок — забвение, цена без скидки.

Теперь он впервые задумался, что бывает с их болью после.

— Куда она идёт? — спросил он. — То, что я сжигаю. Куда уходит дым.

— Дым уходит в небо, — сказала женщина. — В небе ветер, в ветре ничего не держится. Держится только то, что падает. У вас жёлоб под горном, у жёлоба яма, в яме шлак, и в шлаке — всё, чего люди от себя отрезали. Я беру понемногу в каждом городе, чтобы у людей не оставалось ни доказательств, ни соблазна. Я не воровка. Я — то, что приходит после.

Она не стала убирать мешок. Наоборот, она развязала его до конца и высыпала всё на скамью — не горстью, а по одному, как выкладывают на счёт.

— Смотрите, кузнец, как это идёт у меня. — Она раздвинула вещи пальцами, и в кузнице стало видно, что они лежат не как попало, а рядами. — Первый ряд — смертный. Тут мало, тут всегда мало. Второй — годы: не вся жизнь, а тот год, за который человек держится, оттого он и дороже прочих. Третий — мелочь: вечера, дороги, лица, чужие имена. Мелочью платят за гвозди и ложки, и в каждом городе мелочи больше, чем людей.

— И что вы с ними делаете?

— Ничего. Держу. То, что я взяла, нельзя сжечь второй раз: второй раз оно горит плохо и идёт на шлак, а из шлака выходит железо, в котором люди потом едят и спят. Вы не думайте про меня дурно, кузнец. Я не продаю память назад и не торгую ею. Я её просто считаю. Пока считают, она помнит хотя бы того, кто считает.

Гоибниу взял со скамьи обгоревшую рукавицу — детскую, на одну руку.

— Хозяина нет, — сказала она, не дожидаясь вопроса. — Её не продавали. Её потеряли, а продали то, чем она была: тот вечер, когда ребёнок в ней спал в санях и мать всю дорогу держала его руку. Мужчина пришёл потом через семь лет и продал вечер, чтобы заплатить за дверь в доме. Дверь ему поставили; рукавицу я нашла в поду.

Гоибниу держал её и не клал на место.

— А это? — спросил он про обломок гребня.

— Женщина, — сказала женщина. — Она продала мастеру не гребень, а то, как её видел муж: он любил её, когда она расчёсывалась. Теперь муж её любит и объяснить не может — говорит, что любит, а за что, не помнит, и от этого в доме тихо. Она вернулась ко мне через год и просила отдать назад. Я не отдаю: мешок на мешок, а у неё в мешке осталось только имя свекрови.

— Это вы тоже считаете?

— Это я тоже считаю, — сказала она ровно. — У меня сорок вещей, и каждая мне обошлась в человека. Ни одной я не взяла у того, кто не назвал цены сам.

Последней в ряду лежала стёртая монета, гладкая, как капля.

— А эта?

— Эта — плата, — сказала она. — Человек купил клинок и заплатил памятью о том, за что купил. Клинок у него отобрали в первом же месяце. Монету он носил двадцать лет и стёр до гладкости, потому что тёр её пальцем, как трут больное место. Он не помнил, что должен, и всё равно знал, что должен.

Гоибниу положил рукавицу на место, к гребню и монете, и вытер руки о фартук, хотя руки были чистые.

— И вы никогда не возвращаете?

— Возвращаю, — сказала она. — У меня было одиннадцать возвратов за двадцать лет, и все они дошли до одного и того же места: человек сидит у своего горна, у него в мешке чужие жизни, и он пришёл за своей. Я отдаю по горсти, чтобы он не умер от того, что вернулось сразу. Кто выдержал — тот живёт дальше и жалеет. Кто не выдержал — я закрываю ему глаза и беру остаток, и остаток лежит у меня в первом ряду, потому что он уже смертный.

— И часто не выдерживают?

— Спросите иначе, — сказала она. — Спросите, много ли их таких. Одиннадцать возвратов за двадцать лет, кузнец, а хожу я по городам дольше, чем в Гарме стоит цеховая изба. Сочтите сами, сколько людей здесь не просили назад.

В кузнице стало слышно, как в горне садится уголь.

— И моё имя тоже там.

Глава 2. Что носят в мешке

— И ваше имя тоже там, — сказала она. — И я вам скажу то, чего не сказала бы другому. Имя можно вынуть. Оно даже не очень крепко сидит: своё имя человек сжигает последним и всегда думает, что обманул печь. Но за него придётся отдать всё, что вы держите, — а вы держите четыреста чужих жизней, Гоибниу, вы единственный в этом городе, кто их держит. Один мешок на другой мешок. Или имя, или память о всех, кому вы куете. Третьего не дают.

— А если я скажу: пусть лежит.

— Тогда лежите и вы, — сказала она спокойно. — Не сегодня и не завтра. Но в этом городе всё, что лежит в шлаке, рано или поздно всплывает: у вас уже второй год сыпется кирпич в дымоходе, и это не кирпич.

Она встала, собрала мешок, завязала его тем же промасленным узлом и пошла к двери. У двери обернулась и сказала последнее:

— Я зайду ещё. Я всегда захожу, когда у человека остаётся один шаг.

Он задвинул засов и сел на наковальню — не на скамью, а на наковальню, как тот, кто не собирается работать до утра. Горн горел ровно; он смотрел в него, пока огонь не стал дымом, и думал не о своём имени, а о четырёхстах ложках, рукавицах и стёртых монетах, сложенных в чужом суконном мешке, — о том, что всю жизнь считал себя честным мастером и ни разу не спросил, кому после него живётся.

Молот он оставил на наковальне и лёг спать тут же, в кузнице, на лавке у стены. Из окна, в которое сыпался серебряный снег, было видно, как фонарь напротив качается и как тень от него ходит по стене вверх и вниз, вверх и вниз, будто кто-то ходит рядом и ждёт, когда он наконец уснёт.

Молот он опустил на следующее утро: ковать было нечего. Он положил бумажку со своим именем на наковальню, посмотрел на неё ещё раз и ушёл из кузницы — впервые за двенадцать лет, не заперев дверь на засов.

В Гарме было четыреста человек, которые когда-то оставляли здесь своё. Гоибниу знал, где живут все, потому что запоминал людей так, как другие запоминают монеты: по рукам, по голосу, по тому, с какой стороны человек входит в дверь. Он ходил по улице Гвоздей от дома к дому и спрашивал одно и то же, коротко и вежливо: «Помните ли вы меня?».

Мясник Отто, у которого под потолком висели три окорока и ни одной фотографии, ответил: «Кузнец, ты меня держишь за дурака. Тебя весь город знает». Гоибниу спросил иначе: «Как звали твою жену до того, как ты пришёл ко мне?» Отто открыл рот и закрыл его. Его жена вошла из кладовой с ножом и мокрыми руками, и Отто посмотрел на неё так, как смотрят на человека, чья фамилия вертится на языке.

Писец Ганс, у которого на чердаке стояло семь коробок с чужими письмами, долго листал свою книгу, а потом сказал то, что сказал бы любой писец: «Записи о тебе у меня нет. О тебе вообще нет записей ни в одной книге города. Я проверял, кузнец. Двенадцать лет назад я проверял, и весной проверю снова».

Сапожник Мартин жил в трёх шагах от Ганса, за углом, и работал с открытой дверью, чтобы в мастерской не держался запах вара. Гоибниу стал в дверях, и сапожник узнал его раньше, чем он сказал слово.

— А, кузнец. Садись, у меня подмастерье ушёл, я теперь с колена работаю, — он показал шило. — Чего пришёл?

— Помнишь ли ты, как я пришёл в Гарм?

— Помню, — сказал Мартин и не стал придумывать ничего лишнего. — Ты пришёл снизу, от реки, босиком, в первую неделю после того, как снег сошёл. Зашёл ко мне за сапогами и денег не имел. Я тебе сшил в долг, потому что ты в дверях просил не о сапогах, а о работе, и

я решил: парень без денег и без родни — либо пропадёт, либо будет мастер. Ты вернул через год, монетами, все до одной.

— И всё?

— Всё, — сказал сапожник. — Дальше я тебя знаю, как все: кузнец с улицы Гвоздей, работа ровная, платит в срок. Кто ты, откуда, чей сын — не знаю и никогда не знал. Двенадцать лет не знаю, кузнец, а я к тебе не один раз за это время подходил с этим вопросом.

— Ты подходил?

— Подходил, — сказал Мартин спокойно. — Не в обиду тебе будь сказано: к человеку, у которого нет родни, в этом городе подходят все. Сначала спрашивают, потом думают, потом начинают смотреть, что у него под сараем. Я тоже спросил один раз, года три назад, за сапоги для жены. Ты ответил, что не помнишь, и так ответил, что я больше не спрашивал. — Он потёр шило о фартук. — И вот что тебе скажу по дружбе: ты не помнишь, а я замечал. У тебя, кузнец, нет ни одной старой вещи. У всякого мастера в доме есть что-нибудь совсем старое: батин молоток, ложка, которой кормили, шейный шнурок. У тебя нет ни одной.

Гоибниу шёл от него по улице Гвоздей и делал то, чего не делал никогда: считал своих.

Он пересчитал их в том порядке, в котором они приходили: мясник Отто — за жену, вернее, за то, как её звали до того; вдова Лизбет — за два года; старик с кольчугой — тридцать зим; клёпочник с Клёпок — за весну, когда он перевёл клеймо, чтобы отцовский знак не спутался с его собственным; мастер с Нижней, который заплатил тем, что не сказал брату; женщина из-за водокачки, отдавшая лицо сестры; ещё и ещё, и он не сбился ни разу и дошёл до последнего заказа, вчерашнего, торговца пряностями с его неделей на море. Четыреста с небольшим человек. Он держал их по рукам, по голосам, по тому, с какой стороны человек входит в дверь, и это была самая плотная книга, которую он видел в жизни: ни одна строка в городской книге не помнилась так крепко, как эти.

И тут он впервые задумался о том, о чём писцы думают каждый день: почему в книге не стоит ни одной.

Писать он умел. Читать — хуже, а писать даже лучше: буквы у него были ровные, ремесленные, и Ганс однажды сказал про его руку: «Из тебя вышел бы писец, если бы тебя записали». Но в городскую книгу он писать не мог: книга держала человека по родне, а родни у него не было, и потому в ней не было ни графы, ни строки, куда он мог бы вписать то, что держал. Он подумал: если бы у меня было право, я продиктовал бы Гансу четыреста строк за один вечер, по одной на человека, и в городе не осталось бы никого, кто отдал и не помнит, за что. Права не было. За право нужно было три свидетеля, две подписи и родня, а родня — это люди, которые помнят тебя младенцем; младенца не помнил никто.

Вдова Лизбет не стала разговаривать: она открыла дверь, посмотрела на него из темноты и заплакала, а потом долго извинялась и не смогла объяснить, почему она плачет.

К вечеру Гоибниу знал три вещи, и все три были плохие. Первая: ни один человек в городе не помнит его молодым. Вторая: он сам не помнит ни одной зимы до той, когда впервые зажёг этот горн. Третья, которую он понимал хуже всего: он не помнил ни одной своей вещи, которую бы отдал по своей воле.

Он вернулся в кузницу и сделал то, чего не делал никогда: снял колосники, выломал лопатой спекшийся свод и заглянул в поду до самого низа. В поду горна память лежит слоями, как лёд на реке, и слои видно, если посмотреть сбоку: чёрный, светлый, чёрный, светлый. Тридцать лет чужих зим. Четыреста заказчиков. И под всеми, тоньше пальца, серым песком, который ни во что не сгорает и ничем не пахнет, — самая первая запись этой кузницы.

Гоибниу поддел её ковочным крюком, вынул на совок и рассмотрел при свете горна. Слой был не пепел. Слой был пыль от чего-то маленького, выкованного и разбитого — например, от птицы с приподнятым крылом.

Он стоял с совком в руках, и в этот момент в дверь постучали: не вежливо, как стучатся заказчики, и не требовательно, как стучатся сборщики податей, а тихо, ладонью, как стучатся люди, которые пришли отдать долг. Гоибниу не пошёл открывать. Он развёл горн, поставил совок на наковальню и поднял молот — во второй раз за три дня.

Стучали один раз, ладонью, и больше не стучали.

Гоибниу простоял с молотом до рассвета, всё время глядя на дверь, а дверь была самая обыкновенная: сосновая, с кованой полосой, с засовом, который он сам приладил в первую неделю работы. В такие двери не стучат дважды. Либо человеку не отпирают, либо человека нет дома. Гоибниу был дома.

На пороге, между крыльцом и стеной, лежал мешочек из серой шерсти — тот самый, в котором двенадцать лет назад принесли смертный пепел, — и в нём была ровно одна горсть. Бумажки не было. Вместо неё по шерсти углём стоял счёт, коротко, как ставят счёт на бирке: «Обучение: дом, отец, улица, имя. Хранение: двенадцать лет. К возврату предъявлено. Горсть первая».

Он прочитал это дважды, потом бросил мешочек в горн и смотрел, как он тлеет, не поджигая: шерсть горела неохотно, как мокрая.

К полудню он был у писца Ганса — не за бумагой, а за местом.

— Впиши меня, — сказал он. — В любую книгу города. Мне не надо родословной, мне надо строку.

Ганс посмотрел на него поверх очков и сказал то, что говорят нотариусы, когда им приносят дело, за которое нечем платить:

— Строку я тебе напишу за две монеты, и она ничего не будет значить. Книга держит человека не по имени, а по родне: имя без родни в записи пустует, как комната без мебели. Хочешь, чтобы держало, — приведи родню. Или заплати за то, чтобы тебе её приписали: три свидетеля, две подписи, и в книге появится, что ты, кузнец, сын такого-то.

— У меня нет свидетелей, что я чей-то сын.

— Вот именно, — сказал Ганс без всякого злорадства, даже с некоторым уважением. — Двенадцать лет назад я тебе то же самое сказал. Ты приходил тогда босиком.

Сборщик податей пришёл после полудня, когда Гоибниу уже был дома и держал в руках бумажку с собственным именем.

Он входил без стука, но иначе, чем входила женщина в сером: он стукнул о притолоку костяшкой, чтобы его услышали на дворе, а потом вошёл. У него под мышкой была книга в кожаной покрышке, с медной бляхой на ремне, и он держал её так, как держат вещь, за которую отвечают головой.

— Двор на улице Гвоздей, — сказал он, не здороваясь, потому что подати с приветствиями не собирают. — Кузница одна, горн один, оклад двойной, разряд пришлых. Платить.

Гоибниу отсчитал монеты в его ладонь и подождал.

— Третий год беру с тебя двойной, — сказал сборщик, вписывая строку. — Каждый год ты платишь без спора, без просьбы и без слова. Каждый год я думаю: отчего человек, который работает лучше всех в Гарме, платит, как последний заезжий?

— У меня нет родни.

— Это не ответ, — сказал сборщик, застёгивая ремень. — Это причина. Отвечу вместо тебя: с человека, у которого есть родня, берут половину, потому что родня за него отвечает — недоимку платит брат, а недоимку брата платит двор. С пришлого берут двойной, потому что за него не отвечает никто: с кого взять, если ты уйдёшь? Так и живёт казна: кто помнит своё, тот и платит вдвое меньше того, кто не помнит ничего, и в этом у нас с тобой вся разница.

— А если я приведу родню?

— Тогда приходи с тремя свидетелями и двумя подписями, и в книге появится, что ты чей-то сын, и оклад тебе перепишут с двойного на половину. Свидетели — люди, которые тебя

помнят с тех пор, как тебе было семь лет. — Он посмотрел на Гоибниу не зло, а как на работу, которую придётся делать второй раз. — Двенадцать лет, кузнец, я собираю с этой улицы. Ни один пришлый родни не привёл. Сперва я думал: ленятся. Потом понял: не у кого.

Он уже повернулся к двери, но вернулся и добавил, тыча пальцем в книгу:

— И вот ещё что. Землю под кузницей ты держишь без грамоты. Земля без грамоты в этом городе считается ничьей, а ничья идёт в город, когда в ней нуждаются. Пока в ней никто не нуждается — живи. Когда понадобится — вынесут и вынесут по закону, потому что написать в книгу о твоём праве нечего: нет родни, нет и наследника, а право без наследника в записи не держится.

— А сверх оклада?

— Сверх оклада — сбор на городскую башню, грош с горна, — сказал сборщик. — Её начали не при нас и кончат не при нас.

— Когда её начали?

— Двадцать четыре года назад, при прошлом старшем мастере, — сказал он и вышел, и книга хлопнула о притолоку.

Гоибниу стоял посреди кузницы с горстью монет, которую не успел убрать, и слышал, как он сам, вслух, без всякой нужды говорит одно слово:

— Двадцать четыре.

Двадцать четыре года назад он был мальчишкой лет семи, где-то, в каком-то дворе, и в Гарме в тот год заложили башню, которую с тех пор строят в убыток. Он убрал монеты в железный ящик, поставил его под наковальню и весь остаток дня ковал так ровно, как не ковал давно: с тем вниманием, с каким человек слушает свой собственный дом, когда в нём что-то скребётся.

Вечером пришёл старик, которому Гоибниу ковал кольчугу для сына. Он приходил с тех пор раз в год, всегда с одним и тем же: садился у наковальни, снимал шапку и просил рассказать. Гоибниу рассказывал: как сын вернулся с войны в третий раз и не узнал порога, как смеялся над новыми воротами, как потом ушёл на юг.

— А что я отдал? — спросил старик и на этот раз. — Ты говорил, но я забываю. Так и должно быть, я знаю. Всё равно спрошу.

— Тридцать зим, — сказал Гоибниу. — По зиме за каждое его возвращение. Тебе оставили, как он уходит, и убрали, как он приходит; потому ты его и не узнаёшь — узнавание стоит дороже, чем память.

Старик долго молчал, потом сказал:

— Значит, я всё-таки заплатил не за железо.

— Ты заплатил за железо, — сказал Гоибниу. — Просто железо в этом городе растёт из людей.

Старик ушёл, и Гоибниу остался один со своей горстью. Он сидел у наковальни и понемногу понимал то, чего не понимал двенадцать лет: смертный пепел не носят кузнецу как заказ. Его приносят только тому, кому его вернут. Смертный пепел — это не материал. Это расписка, которую наконец предъявили.

Тогда он встал, подбросил в горн угля, раздул огонь и открыл мешочек.

Ковать он собирался не по заказу. Он собирался выковать что-нибудь для себя — впервые за двенадцать лет, и он не знал ни одного ремесленного слова для того, что делает.

Неделю из горна не выходило ничего.

Гоибниу пробовал по-разному: держал горсть сутки в тепле, подсушивал, смачивал колодезной водой, подмешивал обычный пепел ольхи и берёзы, клал на наковальню, клал в форму. Смертный пепел вёл себя как речной песок, которого никто никогда не видел: он брал тепло и не отдавал формы.

Тогда он пошёл в книгу города, а книгой города распоряжался писец Ганс.

— Мне нужно имя мастера, который делал серебряных птиц, — сказал Гоибниу. — Маленьких, с приподнятым крылом. Норальдская работа.

Ганс искал долго и без всякого удовольствия, потому что был человеком, который любит порядок, а не тайны. Он нашёл две записи. Первая — расход: серебро, три лота, сорок лет назад, «на изделие, описанное как птица с приподнятым крылом»; получателя в записи не было. Вторая — приписка на поле, другой рукой: «дело закрыто, мастера в городе нет».

— Вот и всё, — сказал Ганс. — И скажу тебе больше, кузнец: у нас в книге много таких записей. Люди приходят, платят, берут работу, а потом их нет ни в одной строке. Я двадцать лет думал, что это писцы у нас нерадивые. Теперь думаю иначе.

— Как иначе?

— Что некоторые вещи в этом городе берут не деньгами, — сказал Ганс и закрыл книгу, как закрывают разговор.

Гоибниу ходил по городу и спрашивал про птиц. Отвечали охотно и пусто: «птицы — это которые на башне?», «серебряные птицы — это ювелир у моста», «не было тут никаких птиц». Последним он нашёл старого кузнеца Эберхарда, тридцать лет державшего мастерскую на Заречной и теперь греющего у печи руки, которые уже не держали молот.

— Тех птиц делали в Норальде, — сказал Эберхард. — А у нас тут их делал один человек, пришлый: нашим на такое терпения не хватало. Он умер. Давно.

— Как его звали?

— Не помню, — сказал старик безо всякого смущения, как говорят про погоду. — Я его и не знал толком. Я знал его ученика. Мальчишку.

— А мальчишку как звали?

Эберхард долго смотрел в печь, а потом сказал то, что сказал бы на его месте любой человек в Гарме:

— Не помню. Странно, да? Я помню его всего: как он свет держал на затылке, как стучал, как смеялся, когда ошибался… — он поискал слово и не нашёл. — Имени нет. Как будто кто-то взял и вынул.

Глава 3. Кто делал птиц

Гоибниу шёл от него домой и понимал, что впервые в жизни разговаривает о себе, не называя себя.

На седьмой день он догадался, что делает не то, и это была простая догадка: он пробовал ковать смертный пепел, а его нельзя ковать. Его можно только показать.

Он развёл горн до белого, до того света, при котором в кузнице не видно ни стен, ни рук, и поставил в угли тигель — маленький, глиняный, тот, в котором плавят серебро. Обычный пепел он в этот день в горн не подсыпал: смешанное уходит на шлак и уносит с собой чужое, а этого он не хотел. Он насыпал смертную горсть в тигель и сел ждать, как ждут у постели.

Пепел не загорелся. Он потемнел, потом стал тёмно-золотым, потом в кузнице началось то, для чего у кузнецов нет слова.

Сначала ушёл запах горна. Он не стал слабее — он стал другим: вместо угля, окалины и машинного масла в кузнице появилась река. Не вода, а именно река: дёготь, смола, мокрый песок, гниющие сваи, и поверх всего — что-то тёплое, похожее на хлеб. Свет в горне встал так ровно, что Гоибниу перестал видеть огонь и увидел белое место, и в этом месте прошли чьи-то шаги: узкие, босые, по холодному полу.

Он знал этот пол. Он не помнил его, но узнал: тело узнало раньше головы, как узнаёт рука работу. В белом свете была низкая дверь, а над дверью — ничего, и в этой двери кто-то стоял маленький и держал её, а больше в свете не было ничего: ни лиц, ни голосов, ни неба.

Потом тигель треснул.

Гоибниу опомнился от боли: он взял его голой рукой, не подумав, и глина обожгла ладонь через всю, до запястья. Он бросил тигель на пол, затоптал рассыпавшийся пепел сапогом, а потом сел на пол рядом и стал собирать его обратно — щепоть за щепотью, сметая в совок, как собирают просыпанную соль. Пепел был серый. Он стал серым ровно в тот миг, когда треснул тигель: из тёмно-золотого он вышел обыкновенным, и в нём больше не было ни реки, ни двери.

Он собрал всё до последней пылинки, ссыпал в мешочек и впервые за неделю отдёрнул завязку с узлом, а не завязал: теперь он знал, что держит, и знал, что горсти стало меньше. Он посмотрел на ладонь: обожжённое место не пошло пузырём, а легло белой полосой, и полоса шла поперёк, как след от гвоздя. Такие полосы у кузнецов заживают месяцами и остаются на всю жизнь.

Он вышел на улицу, потому что в кузнице было нечем дышать, и пошёл вниз, к реке. Не за чем-нибудь, а как ходят, когда в доме сказали правду и надо переждать, пока она уляжется. Улица Гвоздей кончилась, пошёл спуск, потом мост: за мостом было место, где пахло дёгтем, смолой и рыбой, и он остановился на середине моста, потому что понял, что туда идёт, и понял, откуда знает этот запах. За мостом начиналось то, чего он не помнил и что помнило его.

Он вернулся. Лёг на лавку, не раздеваясь, положил обожжённую руку на грудь и пролежал без сна до той поры, когда в окно перестало быть видно фонарь напротив.

Ночью женщина пришла снова. Она не стучала: просто оказалась на пороге, когда он поднял голову от горна, и в руке у неё был второй мешочек, точно такой же, как первый.

— Горсть вторая, — сказала она. — Счёт такой: чего отдано — по частям, и возвращают тоже по частям. Сразу не возвращали ещё никому, кузнец: люди не выдерживают.

— А третья?

— Третья не пепел.

Больше она не сказала ничего. Она положила мешочек на наковальню, рядом с первым, и ушла, и во дворе не осталось следов.

Гоибниу развязал оба мешочка, ссыпал пепел на совок и долго смотрел на две горсти, которые были его собственной жизнью, отданной за право стоять у огня.

Он поднял молот, подержал его в воздухе и поставил обратно к стене: ковать наобум было нельзя, а спрашивать было не у кого. Он убрал оба мешочка в сундук, где лежали щипцы, и впервые за двенадцать лет ушёл из кузницы не в полночь, а в сумерках — как уходит человек, которому надо в другое место.

Заречная начиналась за мостом, там, где река заворачивала вправо и город переставал притворяться камнем: дома делались деревянными, улицы — из утоптанной земли, а над крышами стояли четыре тополя, по которым в Гарме узнавали ветер. Здесь не пахло серебряным дымом. Здесь пахло дёгтем, мокрым песком, смолой и рыбой, и Гоибниу, двенадцать лет дышавший горном, шёл по этой улице и чувствовал, как у него чешутся ладони. Так бывает, когда рука узнаёт работу раньше головы.

Эберхард сидел у печи в двух рубахах, хотя на дворе стоял тёплый день. Он обрадовался хлебу больше, чем человеку: взял, положил на колени и стал есть, отщипывая по кусочку, как едят те, у кого времени много, а зубов мало.

— Про двор спроси, — сказал он с набитым ртом, не дожидаясь вопроса. — Ты ведь за двором пришёл, а не за мной.

— За двором, — сказал Гоибниу. — Где стояла мастерская того, пришлого?

— За четырьмя тополями, — сказал Эберхард. — Считай: от моста четвёртый дом, потом наискосок, потом через пустырь. Там ещё кладка торчит, кирпич красный, с одной стороны закопчённый. Ты не спутаешь: у нас в Заречной кирпич только у сгоревшего. — Он хлебнул из кружки и добавил то, что говорил уже в прошлый раз, но другими словами: — Хороший был двор. Нарядный. У нас тут тогда с покойниками просто было: умер человек — через год никто не помнит, где жил. А этот двор помнят. Не потому, что там мастер был хорош, а потому, что он сгорел.

— А мастер? — спросил Гоибниу.

— А мастер — пришлый, — сказал Эберхард. — Это всё, что я тебе скажу, и это всё, что про него в Заречной знают. Пришёл, снял двор, работал. К нам в Заречную с работой не ходят, у нас работа своя: лодки да смола. К нему ходили из города — господа. Мелкие такие, серебряные. Он их, знаешь, не продавал.

— Не продавал?

— На заказ делал, — сказал старик. — Взял мерку серебра и делает. Мы его за это уважали, у нас всякий норовит побольше взять и поменьше сделать. Он брал впритык, по весу. — Старик подумал и добавил без всякого перехода: — А мальчишка у него был. Вот этого я помню крепко: мальчишка. Худой, в подпалинах вечно, потому что всё в горн лез. И смеялся, когда ошибался. Я его раз за ухо взял за то, что он мне в сеть угли сыпал, а он хохочет. — Он посмотрел в печь, потом в кулак, потом никуда. — Имени, кузнец, не помню. Двадцать раз тебе это говорил, и сам себе двадцать раз говорил, и не помню. Мне семьдесят четыре. Может, от этого.

— Может, — сказал Гоибниу и встал.

Он шёл через пустырь и с каждым шагом знал всё точнее, куда идёт, — не по приметам, а по низу живота, там, где у людей сидит страх, а у него сидела ровная, тёплая уверенность. Через пустырь, наискосок, за четыре тополя. И тополя были на месте: три живых, а четвёртый, ближний к кладке, обгорелый снизу до половины, и с тех пор он рос криво, наклонившись к реке, будто и через двадцать лет всё ещё отворачивался от огня.

Двора не было. Был низкий венец битого фундамента, обросший лебедой, две кирпичные трубы, яма от сарая и кладка горна — та самая, красная, закопчённая с одной стороны. Гоибниу обошёл её кругом, потом сел на корточки, потом просто сел на землю, потому что ноги сделали это без его участия. Он смотрел на кладку и видел, что она сложена правильно: под — на ладонь ниже, чем делают в Гарме, поддувало выведено на север, чтобы тяга не гуляла от ветра, свод

над горном — в четыре кирпича, потому что хозяин берёг тепло, а не время. Он знал эту руку. Он работал в такой кузнице все двенадцать лет и никогда её не строил.

Потом он увидел яму за домом.

Яма была старая, края осыпались, и в ней лежало то, что хозяин сгоревшего двора выбрасывал годами: обломки литейных форм, куски тиглей, шлак, скрученная проволока, и поверх всего — птицы. Серебряные, маленькие, с одним приподнятым крылом. Их было, наверное, штук сорок, и они были разные: у одних крыло поднималось слишком высоко, у других клюв выходил тупым, у третьих не было хвоста, — и все они были браком, все были выброшены, и все лежали тут, никем не тронутые, потому что в Заречной никто не станет рыться в чужой яме. Гоибниу достал одну. Она была лёгкая, как остывшая капля, и у неё было приподнято правое крыло — то самое, которое он две недели искал в своей руке и не находил.

Он сидел на краю ямы и держал птицу так, как держат найденную монету, которую уже некуда потратить.

— Вы тутошний? — спросила женщина из-за лебеды. Она несла на коромысле два ведра и остановилась, потому что её двор был через два шага. — Коли купить хотите, тут не продают. Тут сгорело всё.

— Я не купить, — сказал Гоибниу. — Я спросить. Как звали мастера, который тут жил?

— А кто ж его знал, — сказала женщина спокойно и поставила вёдра. — У нас его звали «господин из-за четырёх тополей», а по имени — не помню. Я тут двадцать два года живу, а не помню. Бывает так: человека помнишь, а как назвать — нет, и на языке вертится, а всё равно нет. — Она поправила коромысло. — Мальчишка у него был — это да. Мальчишку помню лучше, чем его.

— Что с ним стало?

— Огонь был, — сказала женщина. — Ночью. Горн у него стоял близко к сараю, а сарай был смолёный, и весь наш пустырь тогда был в лодках. Мы выбежали, когда тополь уже горел, а горел он, как свечка. Мастера вытащили уж мёртвого, а мальчишка сам выскочил: он в дыму двери держал, чтоб отец вышел, — вот этими руками держал, я видела. — Она говорила ровно, как говорят о деле, которое давно кончилось. — Потом его увезли. По реке. Кто-то из лодочников взял, у нас тогда с роднёй-то не разбирались: сирота — значит, кто-то везёт. Больше я его не видела.

— И не слышали о нём?

— И не слышала, — сказала женщина. — Я его и не узнала бы. Детей через двадцать лет не узнают, они вырастают в чужих людей. — Она подняла вёдра. — А вы, господин, коли память у вас крепкая, скажите мне одно. В тот год в Заречной у половины людей пропали мелочи из головы: кто какого соседа помнил, кто чем жил. Мы с женщинами спорили, кто из нас путает. Так что, это только у нас так было или везде?

— Везде, — сказал Гоибниу.

— Ну, значит, город наш такой, — сказала она без всякой обиды и ушла с вёдрами, и это было первое за двенадцать лет утешение, которое ему дали в Заречной.

Лодочника звали Йорг, и он не сразу согласился говорить.

— Я в ту неделю пил, — сказал он. — Не от горя, а как пьют лодочники: вода ушла, лодки на берегу, делать нечего. Я тебе так скажу: всё, что я помню про ту неделю, я помню плохо, и половину мне потом рассказала жена.

Гоибниу сел на перевёрнутую лодку и подождал.

— Оно само поднимается, — сказал Йорг и посмотрел на реку. — Ладно. Меня позвали ночью. Не помню кто: в те годы в Заречной половина жила с чёрного дому. Мне сказали: перевезёшь двоих вниз, за мельницу, и чтобы до утра. Я взял лодку, самую ходкую, свою. Их было двое: женщина в платке и мальчишка. Мальчишка маленький, руки у него были замотаны тряпками, обе, от запястья, — тряпки горелые, я это помню, потому что такие пахнут. Он всю

дорогу сидел на средней банке и смотрел назад, на наш берег, пока берег не ушёл в дымку. Не спал. Он вцепился в борт, как вцепляются, когда верят не воде, а человеку.

— А женщина?

— На корме, — сказал лодочник. — И вот что я тебе скажу про неё, кузнец, а ты как хочешь понимай. Я такой гребли не видал ни до, ни после. Она гребла всю дорогу сама: сказала — гребу я, и гребла, до самого мыса. — Он помолчал. — У неё с левой руки не было двух пальцев, и я это видел при лунном свете, и я всю дорогу думал, что мне за это будет от бабы, потому что я взял человека без пальцев возить.

— Чем она с тобой расплатилась?

— Ничем, — сказал Йорг. — Тут и начинается нехорошее. Она заплатила мне… — он поискал слово, которого нет, — тишиной. Я на другой день встал и не мог вспомнить, куда дел лодку. Жена говорила: продал. Я пошёл к соседям — смеются. Я всю неделю искал свою лодку, а лодка моя, вот она, лежит у меня под ногами двадцать четыре года, и я с неё тогда же не двигал. Я не помню ни мыса, ни того, что было после, ни как я вернулся. Помню только, что вёз. Это всё, что от той ночи осталось, и то я думаю: не мне, а рукам.

Он наклонился, поводил рукой под бортом и повернул лодку на другой бок.

— Вот, — сказал он. — Гляди сам, коли ты кузнец и знаешь руки. Я её и скоблил, и песком тёр, а она держится, потому что в дерево зашла не краской, а потом.

В борту, у самой банки, темнели четыре неглубоких отпечатка: маленькая ладонь и четыре растопыренных пальца — и рядом, ниже, ещё один след, длинный, узкий, с двумя короткими отметинами вместо концов.

— Мальчишкина рука, — сказал Йорг. — А это её. У меня и бабы моей двадцать лет как нет, а я лодку эту не отдаю и не продаю, и мне на неё смотреть тошно. Хочешь — век слушай, а больше я тебе не скажу ничего: ни как её звали, ни куда мы пристали, потому что и этого не помню.

Гоибниу не стал говорить ему, кто это был и, кто был тот мальчишка. Он спросил только:

— А ты тогда не подумал, что мальчишка — чужой?

— А чей он в Заречной, — сказал лодочник, — когда у нас дворов-то осталось сорок, а людей в них никто по имени не помнит. В ту неделю у нас вся улица спрашивала друг у друга имена. Я свою лодку не мог вспомнить, кузнец. Имя — это уже роскошь.

Он вернулся в свою кузницу к вечеру, с птицей за пазухой и с горстью пыли, которую осторожно, как лекарство, собрал в поду сгоревшего горна. Пыль была серая, сухая, без запаха, тоньше муки, и она не сгорала ни в каком огне — он это уже знал. У себя он снял колосники и рассыпал её поверх своего пода, слоем, которого в поду не бывает, потому что его насыпал сам хозяин кузницы. Потом взял совок и снял этот слой обратно, вместе с чужим, сравнил на свету — верх светлее, низ темнее, граница проходит резко, как отрезанная.

И он понял про свой горн то, чего не понимал двенадцать лет. Под горна — это книга. В каждой кузнице она открыта с того дня, когда в ней впервые развели огонь, и первая запись в ней одна и та же: то, чем был мастер, когда был мальчишкой. У сгоревшего двора первой записью была пыль от серебряных птиц. У его собственной кузницы первой записью тоже была пыль — от птицы с приподнятым крылом, и он держал её на совке три дня назад и не понял, что держит след своей же руки, которой ещё не было.

Значит, он не выдумал реку, лодку и отца-перевозчика. Значит, что-то он всё-таки помнил, когда врал себе это по ночам: река была, лодка была, и кто-то был рядом, кто взял его на руки и понёс, — вот только это был не отец, а совсем посторонний человек, и нёс он его не домой, а прочь.

К полуночи он уже не сидел. Он ходил по кузнице от горна к двери и считал вслух — сначала свои года, потом чужие.

Двенадцать лет назад ему было двадцать, и он пришёл в Гарм без родни, без записи и без денег. Двадцать четыре года назад горел двор за четырьмя тополями, и мальчишка держал в дыму двери. Мальчишке было, судя по рукам, лет семь или восемь. Двадцать четыре отнять восемь — шестнадцать. И значит, между пожаром и этой кузницей у него была целая жизнь, длиной в шестнадцать лет, о которой он не помнил ни одного дня, потому что двенадцать лет назад он сам, добровольно, продал её целиком за право стоять у огня.

— Вот и всё, — сказал он вслух, и голос в пустой кузнице прозвучал так, будто говорил кто-то другой, кто стоял за спиной и соглашался.

Он мог бы узнать больше. Женщина в сером плаще ходит по городам, и в мешке у неё лежит его имя, а в поду его горна лежит он сам, двенадцатилетней давности, и это всё продано и посчитано, и всё это можно вынуть — за четыреста чужих жизней, которые он помнит и которые держат его в этом городе крепче родни. Он мог бы спросить у неё, как её зовут, и она ответила бы не сразу. Он мог бы дать ей то, что она просила с самого начала.

Он не стал. Не в тот вечер. В тот вечер он сделал то, что делает всякий кузнец, которому нечего делать: сжег впустую две мерки рядового пепла, посмотрел, как горит, и пошёл спать на лавку, с птицей под головой вместо подушки, — и первый раз за двенадцать лет уснул сразу, легко, как спят люди, у которых нашлось хоть что-то, и не спрашивал себя, верят ли соседи в реку, лодку и отца-перевозчика.

Шлак в Гарме не выбрасывали. Шлак в Гарме был товаром, и торговали им на одной улице, которая так и называлась — Шлачная, хотя шлаковой её сделали не отходы кузниц, а их хозяева: три сарая, две весовые, дощатый навес, под которым стояли ящики с сортированным пеплом, и запах, к которому в Гарме привыкают годами и от которого приезжие падают в обморок уже с порога.

Держал всё это Курт — человек неопределённого возраста, с кожей, как промасленный ремень, и с привычкой трогать вещи не руками, а тыльной стороной кисти, будто любая вещь могла оказаться горячей.

— Кузнец Гоибниу, — сказал он, не поднимая головы от весов. — Ты пришёл продавать или узнавать?

— Узнавать.

— Узнавать дороже, — сказал Курт. — У меня весовые, а не справочная. Но я тебе скажу: ты первый кузнец с улицы Гвоздей, который здесь появился за девять лет. У вас там все честные, у вас под чистят по правилу.

— Откуда ты знаешь, как у нас чистят под?

— По твоему шлаку, — сказал Курт и наконец поднял голову. — Раз в год ты выгребаешь под целиком и сдаёшь цеху. Цех продаёт мне. В твоём шлаке, кузнец, — тут он прищурился и учёл что-то про себя, — один только первый слой и есть, а дальше пусто, как в чужой кассе. Обыкновенный кузнец за год оставляет мне три ящика, а ты — полтора, и это в тебе самое смешное.

Гоибниу сел на ящик, потому что других мест на Шлачной не было.

— Что ты имеешь против моего пода?

— Ничего, — сказал Курт. — Кроме того, что его у тебя нет. — Он отставил весы и вытер руки о фартук, хотя руки были чистые. — Слушай, кузнец, я объясню, потому что мне это самому интересно, а интересного в моём ремесле мало. Память, когда её жгут, уходит дымом и держится в поде, верно. Но держится она не всякой меркой одинаково. Свежая, горячая — держится крепко, год-два, а потом её место в поду оседает, и если под не чистить, она начинает просить. Кузнецы, которые чистят под каждый год, отдают мне первое — и с этого спится хорошо. А те, кто чистит раз в три года, приходят ко мне трясучие, потому что под им уже снится.

— Что снится?

Глава 4. Второй сорт

— Чужие дни, — сказал Курт просто. — Мужик, который отдал первую любовь, тебе её не расскажет, а под расскажет: ночью ты будешь знать, как пахло у неё за ухом, а к утру забудешь, что знал. По Ярмаркам я этих кузнецов вижу за версту, у них глаза как у баб, которые на четвёртом месяце. В Гарме это называют горновой болезнью, и в Гарме её лечат чисткой пода. А у тебя, кузнец, под вычищен весь, как в аптеке, а глаза как раз такие.

Гоибниу не стал отвечать на это. Он смотрел на ящики с пеплом: они стояли ровно, по сортам, и на каждом была бирка.

— А это что? — спросил он, показав.

— Второй сорт, — сказал Курт. — Недожжённая. Её в Гарме продают только через меня, потому что цех за это правило сделал: дожжёшь до конца — платишь гильдии, не дожглёшь и сдашь мне — платишь мне. Она дешёвая, из неё делают гвозди, ложки, дверные ручки. Человек покупает гвоздь и не знает, что в гвозде — кусок чужой свадьбы. Гвоздь хороший. — Он пожал плечами. — А ты, прости, думал, в этом городе всё честно?

— Нет, — сказал Гоибниу. — Я двенадцать лет думал, что честен я.

— Это одно и то же, — сказал Курт и, к удивлению Гоибниу, не засмеялся.

Дальше он говорил охотно, потому что любил говорить о своём ремесле с теми, кто в нём что-то понимает, а понимающих в Гарме было мало. Гоибниу узнал из его разговора три вещи, и каждая потом ему пригодилась.

Первая: в шлаке нет имени владельца, но есть рука. Кузнец, который кует много, оставляет в поде свой почерк так же, как писарь оставляет почерк в книге, и Курт по пеплу определяет мастера не хуже, чем цех по клейму. «Твой под я узнаю между сотней, — сказал он. — Ты держишь огонь ровнее всех в Гарме, у тебя дым идёт без гуляния. Это не от молота, это от характера».

Вторая: у второго сорта в Гарме есть свой покупатель — люди с окраин и деревенские, которые ездят сюда за дешёвым товаром. Но раз в несколько лет находится человек, который берёт у Курта не второй сорт, а именно «вытертое» — то, что он сам называл осадком, — и платит за него дороже первого.

— И что он с ним делает?

— Ничего, — сказал Курт. — Смотрит.

Третья, и Гоибниу услышал её не от Курта, а от его мальчишки-помощника, который разгружал ящики и которому было, судя по всему, лет шесть. Мальчишка сказал, что у Шлачной улицы две хозяйки: одна с деньгами, другая без, и обе ходят в сером, и он их различает по сапогам. Курт за это дал ему по затылку, но не слишком сильно, и потом долго смотрел в сторону моста.

— Есть такая, — сказал он наконец, когда Гоибниу уже собрался уходить. — Не торговка. Приходит раз в три-четыре года. Спрашивает не «что есть», а «что у вас есть такое, чего вы не продали». Я один раз отдал ей катушку, которая не продавалась семь лет: она не взяла ни за деньги, ни в подарок, а забрала по счёту и ушла, и с тех пор я не спорю.

— По какому счёту?

— Не знаю, — сказал Курт. — Она мне его не показывала. Но я тебе скажу, кузнец, одну вещь, за которую ты мне ничего не заплатишь: у неё в мешке — не товар. Я тридцать лет держу Шлачную и знаю, как пахнет чужая память, когда её собираются сбыть. А у неё пахнет так, как пахнет у меня, когда я закрываю на ночь весовую: как будто всё, что висит у меня на крюках, кому-то принадлежит, и она тут просто кладовщик.

Мальчишка-помощник таскал ящики, и на нём был фартук, перешитый из взрослого и подвязанный вдвое.

— Как тебя звать? — спросил его Гоибниу.

— Курт зовёт «эй», — сказал мальчишка без всякой обиды, как говорят про погоду. — А больше никак. У меня нет.

Курт слышал это через двор и не стал делать вид, что не слышал.

— Он приблудный, — сказал он, вытирая руки о фартук. — Три года пришёл, зимой, в голодный год, когда с Ярмарков шли целыми улицами. Кто-то шёл дальше, кто-то остался. Этот остался: сел у моей весовой на порог и просидел сутки. Я утром вышел — сидит. Я в обед вышел — сидит. Я его и взял: он весит тридцать фунтов, а ест за двоих, и у меня от него одна выгода — он у меня второй год вместо совести: ящики считает, и ни разу не ошибся.

— И имени не дал.

— Не моё ремесло, кузнец, — сказал Курт. — Я беру то, от чего люди отказываются. Имя — это, по-твоему, что? Это вещь, которую кто-то должен сказать вслух. Я ему скажу «Мартин» — и что у меня станет? Мартин в Гарме есть, у него сапоги и долги. А этот — просто мальчишка, который живёт при весах, и в этом нет ничего плохого: у меня в ящиках лежит полторы тысячи человек, и у девяти из десяти нет имени, потому что имя не жгут. Имя с человеком не горит, кузнец. Имя остаётся, когда всё остальное уходит, и потому его не сдают.

Мальчишка тем временем открыл крышку ближнего ящика, поднялся на цыпочки и понюхал пепел, а потом потрогал его — не пальцами, а тыльной стороной кисти, как трогал всё Курт, и это было заметнее всех слов, которые сказал хозяин.

— Ты чего смотришь? — сказал Курт, поймав взгляд Гоибниу. — Копирует. Я его не учил. Оно само: живёт при мне два года, и ходит, и трогает, и прищуривается, как я. Через десять лет он будет держать Шлачную лучше меня, а своего не заведёт ничего, и я тебе скажу почему: у него уже нет привычки хотеть. Дай ему хлеба — он съест. Дай ему имя — он не возьмёт, потому что не поймёт, зачем.

Гоибниу смотрел на мальчишку и вспоминал — не про себя даже, а впервые с той стороны. Двенадцать лет назад кто-то так же смотрел на человека двадцати лет, который пришёл босиком, не помнил, чей он, и умел только просить: научите. И тот, кто смотрел, тоже нашёл выгоду.

— Он у тебя сколько стоит? — спросил Гоибниу.

— Он не стоит, — сказал Курт, и лицо у него впервые стало другим: обиженным и усталым сразу. — Он не на весах, кузнец. Ты пойми: я продаю чужое, а не своё. Своим я не торгую, у меня своё всё посчитано и подписано. — Он повернулся и пошёл к весам. — Иди, кузнец. Ты сегодня у меня выспросил больше, чем я за девять лет сказал кому-нибудь, и я уже жалею об этом.

У ворот Гоибниу обернулся.

— Курт, — сказал он. — Ты тридцать лет сортировал чужое. Хоть раз спросил у себя, что ты сдал?

Курт не ответил. Он поднял гирю, поставил её на весы и стал её двигать, и делал это долго, хотя гиря была одна и двигать её было не надо.

Гоибниу шёл с Шлачной наверх, к улице Гвоздей, и по дороге думал о том, что кладовщики не ходят по городам двадцать лет и не старятся. Он не знал, к кому идти с этим, потому что за двенадцать лет в Гарме он завёл одно знакомство — с наковальней, — а разговоры вёл только о железе.

Дома его ждали.

На пороге кузницы сидел, сняв шапку на колени, старший мастер цеха Бальтазар Крам — грузный, опрятный, с бородой, подстриженной по цеховому правилу, — и рядом с ним стоял писарь цеха с книгой в переплёте, а не с теми листами, какие Ганс писал на заказ. Гоибниу понял, что это за визит, ещё за десять шагов и что уговаривать его не будут.

— Кузнец, — сказал Бальтазар, вставая. — У меня к тебе цеховое дело. Ты двенадцать лет держишь горн на улице Гвоздей, платишь пошлину с прибытка, работаешь чисто. Вопрос мой простой: чей ты?

— Свой, — сказал Гоибниу.

— Так в цехе не отвечают, — сказал Бальтазар без гнева, как человек, который двадцать лет говорит одно и то же. — Кузнец в Гарме держится не мастерством. Мастерству я тебя сам обучу за год, если ты мне отдашь мальчишку посмышлёнее. Кузнец держится роднёй: отец, дядя, дед, любой, за кого в книге города поставлена строка. У тебя строки нет. Ты в Гарме, кузнец, никто, и это опасно не для тебя, а для нас: у нас по цеху считается место, а не человек, и покуда место стоит за человеком без родни, цех за него не отвечает.

— И сколько у меня времени?

— До первых морозов, — сказал Бальтазар. — Принесёшь трёх свидетелей или запись о родне из книги города — место оставим за тобой, и пошлину с этого года сложим. Не принесёшь — кузница отойдёт цеху, а под по правилу вскроют и сдадут на Шлачную, потому что место надо чистить, когда меняется хозяин.

Писарь цеха, не поднимая глаз, поставил в книге крестик.

— Зачем вам под? — спросил Гоибниу, потому что голос у него в этот момент был не важнее крестика.

— Затем, что это ваша память, а не моя, — сказал Бальтазар. — В Гарме испокон веку: под при месте, место при роде, род при городе. Ты четыреста человек пережёг, а сколько по вторичному кругу пустил, цех не знает и знать не хочет. — Он надел шапку. — Ты не злись, кузнец. Ты мне нравишься: ты куёшь лучше моего зятя, а мой зять цех сведёт с ума. Но у тебя нет никого, кто за тебя поручится, и потому за тебя поручиться некуда.

Он ушёл со своим писарем вниз по улице, а Гоибниу сел на порог, там, где сидел старик с кольчугой, и просидел так до темноты, глядя на улицу Гвоздей, по которой ходили люди, помнившие всех, кроме него.

Он пересчитал то, что у него есть. Молот, наковальня, горн, кузница в тридцать лет возраста и мешочек смертного пепла, в котором лежал он сам — семилетний мальчишка, державший в дыму двери.

— Морозов ждать недолго, — сказал он вслух.

И в ту же ночь, ближе к третьему часу, он услышал, как в поду под горном что-то завозилось, будто там, среди четырёхсот чужих дней, кто-то повернулся во сне и позвал его — не голосом, а рукой, всей рукой сразу, от плеча до кисти, той самой, которой двадцать четыре года назад держал двери.

Он не встал. Он лежал и слушал. И к утру у него не осталось ни одного сомнения в том, что Курт сказал про горновую болезнь правду.

Мальвина жила на Заречной в доме без номера, у самой воды, и стирала на весь конец города: у неё на верёвках висело бельё, какое в Гарме не вывешивают, — цветное, с вышивкой, дорогое, и она различала хозяйское на ощупь. Слепая она была двадцать лет, а прачкой работала сорок, и в Заречной говорили, что Мальвина не помнит лиц, но помнит людей.

Гоибниу пришёл к ней не с хлебом, а с двумя медными монетами — за стирку рубахи, которую стирать не собирался. Она нашла монеты на столе быстрее, чем он положил их на скамью.

— Кузнец, — сказала она. — Ты с улицы Гвоздей. Мне за тебя не платят, я прачек по рукам знаю, а кузнецов — по походке. Садись, у тебя вопрос, я по голосу слышу, что вопрос.

— Вы говорит, что помните людей.

— Помню, — сказала она. — Не всех. Тех, кто ко мне ходил.

— Кто к вам ходил с сожжёнными руками?

Мальвина положила ладони на колени и некоторое время сидела неподвижно, как сидят люди, которые ищут не память, а место, где она лежит.

— Мальчишка, — сказала она наконец. — Он ходил каждую неделю, летом и зимой. У него были руки, как у тебя, кузнец: мозоли с огня, с этакой затвердевшей коркой по краю. Он приносил мне рыбу, а я смазывала ему руки гусиным салом и завязывала их в тряпки, и на другой день он приходил и всё развязывал, потому что работать нельзя в тряпках. — Она подняла голову, будто смотрела на него, и Гоибниу стало не по себе. — Я его гусёнком звала. Гусёнок, говорю, у тебя руки чужие, а глаза твои. Смеётся.

— Как его звали?

— Не знаю, — сказала Мальвина, и это было сказано так спокойно, что Гоибниу наконец понял: не помнит не она одна. — Все не знают. Я двадцать лет спрашивала: никто не знает. У него был отец, приходил за ним вечерами, такой же тихий, — и отца, слышишь ты, тоже по имени никто не знает. Двор сгорел, а имён как не было.

— Вы говорили с его отцом?

— Один раз, — сказала она. — Он пришёл за мальчишкой и стоял у двери, а я стирала и спросила: как вы, господин, живёте, вас тут никто не знает. Он сказал: «Я человек пришлый, а пришлому имя ни к чему, пришлого держат по работе». И больше не сказал ничего. Я его и не разглядела: он всегда на свету стоял, а я и тогда плохо видела.

— А после пожара?

— После пожара мальчишка неделю жил у меня, — сказала Мальвина. — На пустыре, в сарае, у лодочников, — где только ни жил; а кормился у меня, потому что больше не у кого было. И на седьмой день за ним пришли. — Она замолчала, и это молчание было длиннее предыдущих.

— Кто?

— Женщина, — сказала прачка. — Я её не видела. Она пришла, когда я полоскала, и сказала: «Я его возьму». Голос ровный, как остывший металл, я такие голоса слышу один раз в жизни и помню всю жизнь. Она взяла его за руку и увела, и он не плакал. Я подумала: родня. А потом двадцать лет думала, что за родню у нас в Заречной кого только не берут.

— Вы запомнили её?

— Руки, — сказала Мальвина. — Она подала мне мою же кружку, я по кружке узнала, что это моя. И у неё на левой руке не было двух пальцев. Я тогда ещё подумала: вот и у меня не хватает, только у меня — глаз.

Гоибниу сидел и считал. Двенадцать лет назад к нему в кузницу пришла покупательница с левой рукой, у которой не хватало двух пальцев, и купила мальчишку в подпалинах — всего целиком, со всем, что он помнил. Двадцать четыре года назад женщина с левой рукой, у которой не хватало двух пальцев, взяла за руку семилетнего мальчишку на пустыре за четырьмя тополями и увела.

Он не сказал этого вслух. Он спросил другое:

— Он оставил у вас что-нибудь?

— Оставил, — сказала Мальвина и, не вставая, дотянулась до полки, где у неё лежали пуговицы, нитки, две ложки и что-то бесформенное, шерстяное. — Рукавицу. Одну, правую: он их вечно терял по одной, левую — где-нибудь в городе, а правую — у меня, потому что приходил ко мне с обожжёнными руками и стягивал их у порога. — Она подала ему серую детскую рукавицу, маленькую, с прожжённой дыркой на большом пальце. — Возьми. Мне она не нужна, я не для того её держала. Я держала её, чтобы было что показать, если он вернётся.

Гоибниу взял рукавицу и не сразу понял, что делает: он положил её в карман и накрыл ладонью, как накрывают бумажку со своим именем.

— Он вернулся, — сказал он.

— Я знаю, — сказала Мальвина. — Двенадцать лет назад. Ты ходишь, как он: с пятки на нос, будто всегда идёшь по горячему. Я тебя с первого раза узнала, кузнец, и молчала, потому что ты не спросил.

Он спросил ещё, и это был единственный раз, когда он спрашивал не о пожаре.

— Он жил у вас неделю. Что он говорил?

Мальвина подумала, и в её лице ничего не изменилось, но руки на коленях сжались — не в кулаки, а в две ровные лопатки, как держат бельё, когда его выкручивают.

— Мало говорил, — сказала она. — Он у меня неделю ел так, что я думала, не накормлю: он хлеб брал и половину клал за пазуху. Я говорю: у меня не украдут. А он: это не украдут, это в запас, я не знаю, где буду ночевать. Семи лет человек, а считал уже как старик.

— Что он говорил про отца?

— Про отца говорил. — Она повернула голову к окну, за которым ничего не было видно, и Гоибниу показалось, что она читает оттуда. — Он говорил: «Мой отец делает птиц». Я говорю: какие птицы, у нас на Заречной птицы — воробьи да речные. А он: серебряные, маленькие, на ладонь, и у них одно крыло приподнято. Он это говорил не как хвастают, а как объясняют дорогу: вот тут поворот, там четыре тополя, а там мой отец делает птиц.

— Ещё.

— Ещё он говорил про имя, — сказала Мальвина. — И это я запомнила слово в слово, потому что не поняла тогда. Он говорил: «Имени у нас нет, у нас есть работа, пришлому имя ни к чему». А потом сказал: «Мне дадут имя, когда я сделаю первую, которая полетит». — Она замолчала. — Я спрашиваю: а что, которые не летят? А он отвечает: которые не летят, те в яму.

Гоибниу сидел и смотрел на свои руки, потому что смотреть больше было некуда.

— Ты его спрашивал про имя отца? — спросила прачка. — Ты не спрашиваешь, кузнец. Ты про руки, ты про пожар, ты про то, кто увез. А про имя — нет. Знаешь или не хочешь?

— Не знаю, — сказал Гоибниу. — Я в этом городе двенадцать лет, и я всё это время думал, что живу без родни по своей вине.

— А имена тут ни при чём, — сказала Мальвина. — У нас в Заречной была женщина, её двадцать лет звали Марта, а как умерла — в приходской книге нашли, что она Грета, и целый конец об этом спорил, потому что за двадцать лет привыкли. Имя — это не то, что у тебя отняли. Имя — это то, что кто-то должен был сказать вслух два раза: один раз при тебе, другой после тебя. Кто тебе его скажет-то?

Она встала и пошла к кадке, и руки у неё делали то же, что делали сорок лет: поднимали мокрое, отжимали, вешали. Она говорила из-за кадки, не поворачиваясь:

— Он у меня спал головой к печи и ложился так, чтобы видеть дверь. Я ему говорила: тут некому входить, я одна живу. А он мне: «Дверь я держу, я привык». Только левой рукой работал, а правую берёг, я ей и руки мазала. Про правую и не говорил ничего; я и до сих пор не знаю, чем он её берёг.

Больше она о мальчишке не сказала ни слова, и это было самое тяжёлое из всего, что она сказала, потому что она сказала всё, а дальше шла её собственная рыба, вода и полоскание.

Он просидел у неё до сумерек, и она всё это время стирала и говорила о том, какой была Заречная до пожара: как пахло смолой, кто держал лодки, как в тот год у половины людей из головы пропала мелочь, а они спорили, кто из них путает. Он слушал и постепенно начинал понимать, что она говорит не о городе. Она говорила ему его собственное детство, единственным способом, каким это было возможно: со стороны.

Домой он не пошёл. Он пошёл на улицу Гвоздей, к дому под вывеской с окороком, и постучал в дверь, за которой жил мясник Отто — тот самый Отто, который три дня стоял у его кузницы, когда из трубы шёл белый дым.

— Ты за мясом? — спросил Отто, вытирая руки о полотенце. — Полночь, кузнец.

— Не за мясом, — сказал Гоибниу. — Помнишь, я тебя спрашивал, как звали твою жену до того, как ты пришёл ко мне?

Отто отступил от двери, и Гоибниу вошёл в дом, где пахло копчёным и где за перегородкой спали дети.

— Марта, — сказал Гоибниу. — Её звали Марта, и вы с ней пришли в этот дом в туман, на второй день после Покрова, и у неё с правой ноги развязался башмак, и ты её за это дразнил до самой весны. Ты отдал мне это год назад за два ножа. Ты платил за жену тем, как вы первый раз вошли в собственный дом, и я помню это лучше, чем ты помнишь, что ел сегодня.

Мясник стоял очень тихо. Потом сел за стол, на котором лежали его ножи, и стал смотреть на них так, как смотрят на реку, уносящую что-то твоё.

— Кузнец, — сказал он хрипло. — Ты меня обманул?

— Нет. Ты сам назвал цену, я тебя предупредил, я взял не больше мерки. — Гоибниу сел напротив. — Я тебе другое скажу. Я единственный в этом городе, кто помнит. Четыреста человек, Отто, и все они ходят и не знают, чего им не хватает. Я молчал двенадцать лет, потому что считал нашу сделку честной. Я и сейчас считаю её честной. Но раз я один помню — значит, я один и должен вернуть.

— Чем вернёшь? — спросил Отто, и голос у него дрогнул. — Словом?

— Словом, — сказал Гоибниу. — Другого у меня нет. Мне четыреста вечеров понадобится, а у меня до первых морозов. Я начну с тех, кому хуже всех, а ты не ходи ко мне больше ни за чем и никому пока не говори. Я ещё не знаю, чем это кончится.

Он ушёл в темноту, а мясник Отто сидел за столом и повторял про себя имя, которое наконец нашло своё место: Марта. На утро он рассказал это жене, и она заплакала, и об этом к полудню знала вся улица Гвоздей, а к вечеру — весь Гарм.

Гоибниу узнал об этом последним, потому что весь день ковал и ничего не слышал, кроме молота.

Глава 5. Счёт за хранение

К полудню на улице Гвоздей стояло пятнадцать человек, и Гоибниу, открыв кузницу, никого не узнал бы, если бы не руки: у всех были руки, которые у него в памяти значились отдельно от лиц — с узлом на левом большом пальце, с ожогом от брызг, с четырьмя пальцами на правой.

— Заходите по двое, — сказал он. — И запомните: я не возвращаю товар. Я отдаю то, что помню. Это не то же самое, и я не знаю, как оно у вас уляжется.

Улягалось по-разному.

Писец Ганс пришёл последним, когда остальные разошлись, и с ним была та же книга под мышкой, с которой он стоял у кузницы в дни белого дыма. Он сел на скамью у стены и сказал:

— Кузнец, я тебе помогу с оговоркой: я двадцать лет служу книге города и знаю, что записи делают людей. Ты хочешь назвать мне то, чего во мне нет. Говори.

— У тебя был брат, — сказал Гоибниу. — Младший. Он утонул на Благовещенье в позапрошлом... нет, в позапозапрошлом году, в половодье, и ты не был на похоронах, потому что в тот день тебе отдавали место писца, и место отдавали за то, что ты заплатил кузнецу. Заплатил братом. Мерка вышла ровная: ты отдал всё, что помнил о нём, — и голос, и то, как он смеялся, и то, что он тебе говорил в лодке за неделю до воды. Ты эти двенадцать лет думал, что у тебя был один брат и тот умер младенцем.

Ганс сидел очень прямо и держал книгу обеими руками, как держат её на суде.

— Имя? — спросил он.

— Нильс, — сказал Гоибниу. — Нильс, и он звал тебя «старик» с семи лет, потому что ты в семь лет собирал какие-то бумажки и раскладывал их по порядку. Ты меня к себе в первый раз привёл именно из-за этих бумажек: я пришёл босиком, а ты сказал: «Кузнец, у тебя руки, как у моих раскладок, всё по порядку». А потом ты меня в книгу не вписал, потому что родни не было.

Писец Ганс встал, вышел на улицу, вернулся и сел на то же место.

— Я тебе вот что скажу, — проговорил он. — Ты мне вернул не брата. Ты мне вернул то, что я продал брата. Это уже не вернуть, кузнец; это теперь во мне навсегда, и я теперь буду знать, за что мне было спокойно двадцать лет. — Он аккуратно положил книгу на колени. — И я тебе за это, против всякой совести, благодарен. Пиши мне, что помнишь. Пиши имена. Я буду записывать: у меня рука на это поставлена.

Вдова Лизбет оказалась хуже.

Она пришла в сумерках, не села, не сняла платок и слушала стоя. Гоибниу сказал ей то, что помнил: Норальд, обоз, три года, как она носила воду на второй ярус, где лежали обожжённые, и как зимой ставила горячую золу в мешки и посыпала дорогу от лазарета до угла, чтобы по ней ходили те, кто не может скользить. Она слушала, глядя в стену за его плечом.

— А зачем? — сказала она наконец, и голос у неё пошёл вверх. — Зачем ты мне это вернул? Я двенадцать лет спала. Я знала, что где-то там был год, а какой — не знала, и в том году был вот этот лаз, и человек, и он умер, да? Отвечай: он умер?

— Умер, — сказал Гоибниу.

— Ну и вот, — сказала Лизбет и в первый раз за всё время посмотрела ему в лицо. — Все говорят: кузнец честный, кузнец берёт мерку и не больше. А я тебе скажу, кузнец: ты брал у нас самое дорогое и оставлял самое дорогое, и у всех выходило по-разному. Кому ты теперь вернёшь три года? — Она вышла, хлопнув дверью, а через два дома остановилась, села на ступеньки и заплакала, и никто в Гарме не смог бы объяснить, отчего.

А старик с кольчугой не спрашивал ничего.

Он пришёл, сел у наковальни, снял шапку, как всегда, и сказал:

— Я слышал, ты теперь отдаёшь.

— Отдаю, — сказал Гоибниу. — Я всё помню про твоего сына. Тридцать зим, по зиме за каждое возвращение; тебе оставили, как он уходит, и убрали, как он приходит. Я знаю, как он держал ложку, я знаю, что он ходил налево, как медведь, и что он боялся кузнечного огня с детства и потому не пошёл в отца. Я знаю, как он сказал тебе «я на юг», и соврал, и ты это понял и не сказал ему.

— Говори, — сказал старик. — Ты не торопись. Я весь вечер свободен.

Гоибниу говорил до ночи. Он рассказал старику тридцать зим — не подряд, а так, как они лежали в нём: как придётся, зимами, сшитыми друг с другом не по времени, а по рукам. Старик слушал, кивал, один раз попросил повторить место про то, как сын вернулся в третий раз и не узнал порога, и потом ещё раз — про то, как он смеялся над новыми воротами. К концу разговора он спал сидя, а Гоибниу накрыл его своим тулупом, и старик, проснувшись в темноте, не сразу понял, где он, и сказал в темноту одну фразу:

— Значит, он был. Всё-таки был.

До четвёртого дня к Гоибниу ходили двое, которых он не ждал.

Первый был человек в дорожном платье, с Ярмарков, и он вошёл так, как входят в лавку: осмотрелся, оценил горн, весы, ящик с гвоздями и только потом поклонился.

— Кузнец, у тебя, я слышал, завелась запись, — сказал он. — Списком. Кто, что и когда. Пятьдесят монет, и я увожу её сегодня.

— Не продаю.

— Ты не понял, — сказал приезжий, и голос у него стал мягче, потому что мягким голосом торгуют лучше. — Я беру не твою память, кузнец, и не твою работу. Я беру список. Список — это не память и не железо. Список — это бумага. Люди с деньгами на Ярмарках заплатят мне втрое, потому что по такому списку видно, кому можно дать под залог и у кого в доме не осталось ничего, за что человек держится. Дай мне его, и я тебя не знаю, и ты меня не знаешь.

— Я его не писал.

— Значит, писал писарь.

— Значит, и продавай с писаря.

Приезжий постоял, посмотрел на него как на работу, которую придётся переделать, и ушёл без злобы.

— В городе найдётся тот, кто напишет такой же, — сказал он уже с порога.

— Найдётся, — сказал Гоибниу. — Их тут с утра до ночи ходит по двое.

Второй была женщина с меркой собственного пепла. Она внесла её в кузницу, поставила на наковальню, как ставят на стол, и развязала, не спросив.

— Возьмите, — сказала она. — Вот. Возьмите и сожгите, чтобы я не помнила. Муж у меня был в Норальде, и он мне в тот год писал, и я его не дождалась, и я хочу, чтобы не было ни письма, ни его.

— Я не беру.

— Вы кузнец, — сказала она растерянно, потому что в Гарме этого не говорят кузнецу.

— Я кузнец, а не под, — сказал Гоибниу. — Меня двенадцать лет принимали здесь за одно и то же, и я сам так думал. Я отдаю, а не беру: с этой недели и до морозов. Что ваш муж писал вам, я не помню и знать не могу: он ко мне не ходил, вы ко мне не ходили.

— Тогда к кому?! — крикнула она так, что со стены отозвался напильник.

— Ни к кому, — сказал Гоибниу и подал ей мешочек обратно. — Идите домой, отвяжите и не жгите. В этом городе каждый себе под. Сожжёте — сама себя и съедите, а вернуть будет не у кого, потому что мастеров, которые жгут чужое за мерку, здесь восемь, а таких, как я, — один, и он занят.

Она ушла с мешочком под фартуком и по дороге два раза оглянулась: не за ней ли, не передумал ли. Он не передумал. Он открыл дверь пошире, потому что на улице уже стояли по двое, и до вечера не закрывал её.

К четвёртому дню про кузнеца на улице Гвоздей в Гарме знали все, и город раскололся ровно надвое, как раскалывается слиток по неправильному шву.

Одна половина стояла у его порога — с утра до вечера, по очереди, по именам, которые записывал Ганс: кто хотел вернуть жену, кто брата, кто год, кто лицо, кто целый дом, — и Гоибниу говорил, а люди уходили, и не было ни одного, кто ушёл бы прежним.

Другая половина шла в цеховую избу и говорила: под горна — общая городская память, и тот, кто хранит чужое, не смеет распоряжаться им по своему усмотрению; а тот, кто вернул одно и не вернул другому, — вор, потому что раздал часть товара без счёта. Кто-то вспомнил даже, что в Гарме тридцать лет назад сожгли кузнеца за то, что он жёг пепел на продажу, а не на работу; кто-то другой попросил у цеха суда.

Бальтазар Крам пришёл к Гоибниу на пятый день сам и на этот раз был зол.

— Я тебя предупредил: до морозов. Ты, кузнец, до морозов не доживёшь, если так пойдёт. Ты мне цех развалил: у меня мастеровые приходят и спрашивают, за что они отдавали, а это, кузнец, вопрос, после которого мастеровые становятся философами, а работу у меня делает пятнадцать рук. — Он постучал пальцем по своей бороде. — Чисти под и уезжай. Я тебе дам место в Лощине, там куется железо для подков, там родни не спрашивают: там спросят с тебя подковы, и всё. Это не милость, это дело: я тебя хочу вывести из города, пока тебя не вывели головой вперёд.

— Не поеду, — сказал Гоибниу. — И под не отдам.

— Тогда я его отберу, — сказал Бальтазар, — потому что цех ответит перед городом, если в поде кузницы на улице Гвоздей что-нибудь всплывёт. Я тебе вот что скажу, кузнец, и нехорошее: ты, наверное, и вправду честный человек. От честных людей у нас в Гарме больше бед, чем от воров.

В ночь на седьмой день пришла женщина в сером плаще.

Она не стучала, ей это было не нужно. Она стояла у горна, и пламя от неё не металось — Гоибниу уже знал эту её особенность и не удивлялся; удивляться было нечем, скорее уж тем, что за двенадцать лет он ни разу не пожелал, чтобы она перестала приходить.

— Ты начал отдавать, — сказала она. — Я за этим не слежу, но я вижу по поду: под у тебя потемнел на два пальца. Чужое, которое вернули, уходит из пода само, и это не по-нашему — это уже по-чужому. Тебя за это, я знаю, судят: в этом городе всё сводят к поду.

— Скажите прямо, — сказал Гоибниу. — Двенадцать лет назад я отдал вам всё. Что вы с этим делаете?

— Храню, — сказала она. — Я уже говорила. Это моё ремесло, и оно честнее вашего: вы берёте и жжёте, а я беру и держу.

— Тогда назовите мне своё имя.

Она не ответила, и он не сомневался, что не ответит.

— Счёт такой, — сказала она вместо. — Ты взял мерку за мерку и хранил чужое двенадцать лет, и за хранение тебе сделали начисление: место, родня, кузница, молот — всё это ты держал в долг, а долг в этом городе берут не с кузнеца, а с кузницы. Ты сегодня вернул четырёх и ещё четырёх с половиной — я вижу по тем, кто у тебя был. У тебя четыреста.

— Я успею до морозов не всех.

— Ты не успеешь и одиннадцать раз по четыреста, — сказала она спокойно. — Ты вернул другим то, что помнишь; а твоё собственное как лежало, так и лежит. Первая горсть была объявление, вторая — товар, третья — сдача. Я приду с третьей через три дня, и это, кузнец, уже не по моей воле, а по счёту: третья не мой товар, третья — твоя.

— Что там?

— Увидишь, — сказала женщина и пошла к двери. У двери она обернулась и добавила то, чего не говорила ни разу за все три визита: — Ты не бойся, если не будет дыма. Смертный пепел в первый раз у всех идёт без дыма. Дым — это когда горит чужое.

Она ушла, а Гоибниу сел к Гансу, разбудил его, и они до утра писали имена — в столбик, в клетку, которую Ганс расчертил собственной рукой. К утру вышло сто девять. Писарь клялся, что это не те имена, которые человек носит, а те, по которым он живёт, и Гоибниу не стал спорить, потому что не умел объяснить разницу лучше.

С этого утра на улице Гвоздей в Гарме появилась тетрадь, в которой сто девять строк были настоящими, а остальные пустовали, — и это была единственная книга в городе, о которой нигде не было записи.

Три дня прошли, как вода сквозь пальцы.

Гоибниу работал и отдавал. С утра он чистил под, днём принимал людей — по двое, — а вечером диктовал Гансу, и в тетради стало двести двадцать строк, а часть строк писарь потом зачёркивал сам, потому что записывал не то, что слышал, а то, что понял. Очереди на улице Гвоздей выстраивались с рассвета, и в ней стояли уже не только его заказчики: приходили те, кто когда-то отдавал другому кузнецу, умершему десять лет назад, и Гоибниу говорил им, что не помнит, и они уходили, а некоторые возвращались к вечеру и просили хоть что-нибудь, хоть одно слово.

Цех не спал. Два мастера с улицы Клёпок к вечеру третьего дня прошли мимо его кузницы и посмотрели на дверь так, как смотрят на дверь, к которой вернутся с инструментом. Бальтазар Крам прислал с мальчишкой записку: «К первым морозам. Морозы будут в четверг».

К третьему дню он перестал узнавать очередь.

Это было первое, что у него ушло, и ушло не так, как он ожидал: не память о заказчиках, а лица тех, кто сегодня ждал у порога. Он знал каждого — по рукам, по тому, с какой стороны человек входит, по тому, как он держит шапку, — но к вечеру уже не мог сказать, приходила ли эта женщина вчера или её привела соседка. Гоибниу не сказал об этом никому, кроме Ганса, и сказал не словами, а делом: он перестал называть людей по именам, а называл по вещам.

— Тот, у которого зарубка на большом пальце, — говорил он. — Ему я должен то, как он держал первую клепь. Женщина с платком на одно ухо — у неё сестра, и сестра была красивее, и об этом она отдала три года. Мужчина, который трогает вещи тыльной стороной кисти, — с Шлачной; он не мой, он стоял и слушал.

Ганс писал и в первый день усмехался, а на второй перестал.

— Кузнец, — сказал он, поднимая голову от строки. — Ты говоришь, как говорят о железе: «вот эта полоса, вот эта зарубка». Ты раньше их по рукам узнавал, а теперь ты их по рукам и держишь, потому что в другом месте у тебя уже не держится.

— Знаю.

— Ты знаешь, что ты тратишь? — Писарь положил перо. — Ты отдаёшь чужое, а расходуется твоё. Я двадцать лет служу книге и знаю, как она устроена: книга не отдаёт, пока её не вычеркнут. А ты отдаёшь и не вычёркиваешь, потому что вычёркивать тебе некому и негде. Значит, ты отдаёшь из себя.

— Я это понял на втором десятке, — сказал Гоибниу. — В тот день, когда сбился.

Он сбился на двести двадцать первой строке.

Строка была такая: «Женщина с Заречной, муж — обоз, три года». Он продиктовал её Гансу, а через час сел и не смог сказать, приходила ли эта женщина вообще. Он помнил обоз, помнил, как муж её сидел в углу и как отдавал, — и не помнил, была ли у неё сама она. Ганс нашёл строку в тетради, и строка была на месте, и почерк был его собственный, ровный, ремесленный, а под нею стояло то, что Гоибниу никогда не диктовал: «проверено, отдано в четверг».

— Это не я писал, — сказал Гоибниу.

— Это я писал, — сказал Ганс. — Ты в четверг сказал мне «отдано», а в пятницу забыл, что говорил, и я подписал. Ты мне теперь вот что скажи, кузнец: сколько у тебя в тетради строк, которые ты уже не помнишь?

Гоибниу взял тетрадь и стал читать с первой страницы. Он помнил сто девять. Из двухсот двадцати. Остальные он читал как чужой список: имена были верные, дела были верные, и он не помнил ни одного лица, к которому они шли.

Он закрыл тетрадь и положил на неё руку, как кладут руку на горячее железо, чтобы понять, хватит ли воды.

— Тогда так, — сказал он. — С этой ночи тетрадь — мой под. Что я скажу — то и правда, а чего я не скажу, того в тетради не будет. И вот ещё: если я начну сбиваться на том, чего нет, ты мне это говори и не жалей.

— Не пожалею, — сказал Ганс. — Я на этом и стою двадцать лет.

На третий день, в третью ночь, пришла женщина в сером плаще.

В руке у неё был третий мешочек — такой же суконный, с прожжённой завязкой, и Гоибниу подумал, что она, наверное, шьёт их из чего-то, что покупает по счёту, как всё остальное.

— Третья, — сказала она и положила мешочек на наковальню. — И последняя.

Он развязал. Он ждал пепла и уже приноровился к тому, как смертный пепел ложится на ладонь — тяжелее, чем должен, — но из мешочка вышел не пепел. В нём лежал сложенный вчетверо лист бумаги, мягкий, как тряпка, потому что его много раз сгибали и разгибали, и на листе были буквы, наполовину выгоревшие.

Гоибниу повернул лист к горну.

Буквы были круглые, старательные, с наклоном, который выдаёт человека, пишущего левой рукой, и половина слов осыпалась, но прочесть было можно, потому что просьбы пишут простыми словами, а простые слова читаются даже в углях:

«Господин мастер. Пишу вам третье письмо, потому что первые два вы порвали не читая. Я пришлый, у меня нет родни и нет денег, а учиться я хочу так, что сплю у вашей трубы, чтобы слышать, как вы начинаете утром. Я слышал, вы берёте платой память. У меня есть чем. Отдаю: дом у реки, отца, улицу, своё имя, и всё, что помню о себе до сегодняшнего дня. Прошу принять меня в обучение сроком на год. Научите меня держать свет так, как держите вы, и делать крыло так, чтобы оно было приподнято ровно на столько, на сколько вы делаете».

Подпись была сожжена до одной буквы — “И” — и рядом, ниже, второй рукой, твёрдой и ровной, как остывший металл, стоял счёт: «Принято. Обучение: год. Плата взята полностью».

Гоибниу держал лист так, что бумага начала трястись, и тряслась не бумага, а рука, и он поставил её на наковальню.

— Это писано в двадцать лет, — сказал он.

— Это писано в двадцать лет, — сказала женщина. — Ты пришёл ко мне не за клинком, кузнец. Ты пришёл за клинком ровно так, как приходят за правдой: с мешочком и с просьбой. Клинка я тебе не дам. Я дам тебе то, что у меня лежит, а ты уж сам реши, чей это товар.

— Мальчишка в подпалинах был я.

— Был.

— Мальчишку двадцать четыре года назад увезли с пустыря за четырьмя тополями, и его забрала женщина, у которой на левой руке нет двух пальцев.

— Увезли, — сказала она и спокойно положила свою руку на наковальню, на свет от горна, чтобы он видел.

Гоибниу не стал смотреть долго. Он и так двенадцать лет знал эту руку: покупательницу, приходившую в кузницу с тем же голосом, каким называют цену.

— Зачем? — спросил он.

— Затем, что у сгоревшего двора был товар, которого город не стоил, — сказала женщина. — Мальчишка был последней твоей вещью у отца, и я её взяла, потому что её взял бы

кто-нибудь похуже: в тот год в Заречной сирот разбирали, как угли, — кому в лодку, кому в работу, кому в реку. Я не добрая, кузнец. Я та, что приходит после. Я взяла мальчишку и держала его, пока он не вырос в человека, которому было что отдать по своей воле. Когда человек отдаёт по своей воле — это уже сделка. До того это было бы воровство, а я не воровка, ты это сам про меня слышал.

— А отец?

— Отец умер, — сказала она. — Птицу из горна можно вынуть руками, а отца из огня — нет. Мальчишка держал двери, чтобы вышел отец, а вышел дым; вот отчего у него были обожжены ладони и вот почему он умел писать только левой.

Она замолчала, и в кузнице стало слышно, как в горне садится уголь.

— Счёт закрыт, — сказала она потом. — Ты отдал всё, что помнил о себе, получил обучение и двенадцать лет работы. Теперь ты хочешь узнать, кто ты. Я тебе скажу по-своему, как кладовщик: тот, кто делает птиц с приподнятым крылом, был до тебя один, и он умер, а рука у тебя его. Остальное — твоё дело. — Она завязала пустой мешочек узлом. — И ещё одно скажу, потому что это входит в цену хранения. До морозов твой под вскроют, и всё, что ты держишь четырьмястами мерками, уйдёт на Шлачную во второй сорт. Оно будет жить в гвоздях, кузнец. В чужой кузнице, в чужих руках, никем не помянутое. Я этого не хочу, и не из жалости: я честный кладовщик, а не дровяной двор.

— Тогда я выгребу под сам.

— Тогда ты выгребешь чужое и развеешь, — сказала она. — Я думала об этом двенадцать лет.

— А своё?

— Своё ты оставишь себе, — сказала женщина. — Две горсти, кузнец, это теперь всё, что у тебя есть от семилетнего мальчишки, который держал в дыму двери. Из них выйдет то, чего ты сам захочешь, и я не знаю, что именно; печь не моя. — Она впервые за все годы посмотрела на него не как на счёт, а как на работу. — Ковать будешь ночью и не спрашивай советов, потому что советчиков у тебя в этом городе нет.

Он хотел спросить ещё одно: как её зовут. Он даже открыл рот, и она это увидела и сделала движение рукой, которым закрывают дверцу горна. Он не стал.

Глава 6. Горсть третья

Она ушла, и во дворе не осталось ни следов, ни тени, а Гоибниу сел к наковальне и просидел над листом бумаги до той поры, когда стало непонятно, где кончается серый свет горна и начинается серый свет утра.

Вопрос, который Гоибниу задал Эберхарду, был короткий.

— Чем он платил?

Старик жевал хлеб, принесённый ещё утром, и не сразу понял.

— Кто?

— Мастер из-за четырёх тополей. Он делал птиц на заказ и брал серебро впритык по весу. Так не работают: так работает человек, который не хочет ничего сверх. — Гоибниу сел на скамью у печи. — Все кузнецы в Гарме берут памятью. Он не брал. Значит, чем-то платил. Чем?

Эберхард долго смотрел в огонь, потом поставил хлеб на колени и сказал то, отчего у Гоибниу похолодели руки, — сказал негромко, как говорят о том, в чём стыдно признаться, что забыл.

— Собой.

— Как это — собой?

— А вот так, — старик развёл ладони, будто показывал размер. — Я тогда ещё ходил, я носил ему уголь, у них с мальчишкой был один горн и мало дров. И я как-то спросил: что ж ты, господин, никого не берёшь к себе в под, все берут, а ты нет. А он мне: «Я не могу брать чужую память, у меня рука на неё не поставлена». — Старик повторил это с той же интонацией, с какой слышал, и от интонации Гоибниу вздрогнул сильнее, чем от слов. — И потом ещё сказал: «Я беру со своей».

— Сколько он взял со своей?

— Не знаю. Я угольщик, у меня нет весов, у меня есть мешки. — Эберхард кивнул на два мешка у стены. — Но я тебе скажу, кузнец, что я в ту пору видел своими глазами, потому что глаза у меня тогда ещё были. Он худел не по-людски. Первый год он был человек как человек, разговаривал, ругался с соседями за лодки. А году на третьем он уже не разговаривал, кивал. А на пятом — он в лавку заходил и стоял, пока ему не дадут. Я думал: тяжело ему, пришлому, имя такое, что ни продать, ни заложить, ни в книгу. А это он себя уже почти всего переплавил.

— За что? — спросил Гоибниу, хотя знал ответ.

— За птиц, — сказал Эберхард. — Ты их видел когда-нибудь? Мелкие, серебряные, на одну ладонь. Он их делал, а материал какой ему был нужен, он покупал, и серебра уходило немного, он его не крал, а платил впритык. И за каждую птицу он снимал с себя по мерке. По одной зиме, я так думаю. — Старик покачал головой. — Он никогда не говорил, что продаёт. Он говорил: «отдаю». Отдаю, мол, и всё.

Гоибниу встал и ходил по избе от печи к двери и обратно, потому что сидеть не мог.

Он всё это время думал, что под горна в сгоревшем дворе — это чужая память, четыреста горстей, привезённые в мешочках. Что там записи, взятые за работу: жёны, дороги, лица. Что в поду сгоревшего двора лежит то же, что у него самого в поду, — только больше.

Всё было наоборот. Под у сгоревшего двора был пуст в том смысле, в каком опустошён человек, который платил собой. В нём лежала одна жизнь, целиком, отданная мерами за мелкими серебряными вещицами, — и лежала она слоями, потому что он снимал с себя не всё сразу, а по одной зиме, как снимают и запасают поленья в долгую осень.

— Он мне говорил в тот год, — сказал Эберхард уже в спину Гоибниу, — говорил: «У меня есть один человек, и я его сохраню до конца». Я тогда не понял, о ком. Мальчишка рядом стоял.

Гоибниу вышел на улицу и до сумерек сидел на пустыре у красной кладки, у выгоревшего горна, глядя на яму, в которой лежали сорок бракованных птиц. Он прикидывал, сколько в человеке зим. Он не умел считать такую мерку, но знал, что если снимать по зиме за птицу, а птиц у мастера уходило за год десятками, то никакой жизни не хватит, и потому он делал их не десятками.

И точно: в яме лежали сорок бракованных. Значит, годных было во много раз меньше. Значит, у сгоревшего двора был не промысел, а что-то другое — колонна, счёт, порядок, — и на это ушёл человек.

От кладки Гоибниу пошёл не домой, а к писцу Гансу, и пришёл в самое неудобное время, когда писарь ужинал.

— Отца искать пришёл, — сказал Ганс, не спрашивая. — Я знал, что придёшь. Я двадцать лет жду, когда кто-нибудь придёт и спросит про эту строку.

— Про какую строку?

Ганс отставил миску, зажёг вторую лампу и вынул из-за печи не ту книгу, с которой ходил к кузнице, а другую: большую, в обгоревшем с угла переплёте, перетянутую ремнём в двух местах.

— Заречная, — сказал он. — Книга дворов. Пишется по дворам, а не по людям: здесь место, а здесь тот, кто в нём живёт, с роднёй. Вот мост. Вот четыре тополя. — Он листал и вёл пальцем по строкам, и Гоибниу видел, как под пальцем идут плотные столбики имён, крестиков и помет: целые семьи, живые и мёртвые, по порядку. — Вот двор.

Дальше имени не было.

Бумага на этом месте была не выцвела и не прогорела — она была выскоблена: ножом, глубоко, до ворса, так что осталась ямка в листе, и по краям её лежали затвердевшие бугорки отскобленного. Строка шла от края до края столбца, аккуратно, без пропусков, и от всего двора осталась одна приписка другой рукой, через два пальца ниже: «дело закрыто. Мастера в городе нет».

Ганс держал лампу и молчал.

— Кто это сделал? — спросил Гоибниу.

— Не я, — сказал писарь. — И за двадцать лет я не нашёл, кому за это предъявить. Скажу больше: эту книгу двадцать лет никто не открывал, кроме меня, и место это я нашёл сам, случайно, когда писал улицу Гвоздей и мне понадобились четыре тополя.

Гоибниу взял лампу и наклонился над ямкой в бумаге.

— Смотри, — сказал он. — Скоблили не ножом. Видишь край? Он идёт волнисто, мелко и с двух сторон одинаково, как идёт след от личного напильника, когда им чистят заусенец. Кузнецы не срезают ножом — они не умеют, у них для этого напильник. — Он поднял лампу выше. — Тут работал кузнец, Ганс. Кто-то пришёл в книгу и стёр себя ремесленным инструментом.

Писарь сел.

— Зачем?

— Затем, что его искали, — сказал Гоибниу. — И он это знал. Отца искали, а он был пришлый и хотел, чтобы после него в городе не осталось ни двора, ни имени — ничего, за что можно взять.

Он не сказал вслух то, что уже знал: что у отца всё-таки осталось нечто, за что берут, — мальчишка, которого он берёг до конца, и которого через семь лет после пожара забрала за руку женщина с недостающими пальцами. Товар, который она держала двенадцать лет, лежал в её мешке и был ничем иным, как непогашенным остатком по чужому долгу.

— Как его звали? — спросил он всё-таки.

— Не помню, — сказал Ганс и посмотрел на Гоибниу так, как смотрят, когда просят прощения. — И не смотри на меня так. Двадцать лет назад я читал эту строку, я знал её наизусть,

я помню даже, что там было три слова и что третье — короткое. Кузнец, я служу книге города, и я не помню, как звали человека, чей двор выскоблен моей рукой или не моей. Это, знаешь, хуже, чем не помнить, где ты был в среду.

Гоибниу вернул ему лампу и пошёл домой улицей вдоль реки, потому что по улице Гвоздей идти было уже нельзя: там у его двери сидели люди — не те, что приходят за своим, а те, что приходят и ждут, чтобы он сказал что-нибудь ещё, и он не знал, что сказать, потому что узнал за этот день одну вещь: он не просто пустой человек, который когда-то заплатил. Он человек, за которого заплатил кто-то другой, и за тридцать два года его никто ни разу об этом не предупредил.

Цеховая изба стояла на Верхней, у самого спуска, и снаружи была неотличима от сарая: длинная, дощатая, с одной трубой, из которой никогда не шёл дым. Внутри по стенам висели клейма — сотни, рядами, от больших, ладонных, до мелких, шириной в ноготь, и каждое было чьим-то именем, потому что у кузнеца имя живёт не в книге, а отпечатком на металле.

Он пришёл раньше срока и потому не сразу вошёл в избу: он пошёл по стене, где висели клейма.

Их было сотни, и висели они не по годам и не по улицам, а как их сдавали: тесно, рядами, и у каждого клейма на обороте была бирка — деревянная, с двумя буквами. Гоибниу читал бирки и смотрел на знаки: молот над водой, два молота накрест, колесо, клепь в разрезе, у кого-то якорь, у кого-то просто квадрат. Имя кузнеца живёт не в книге, а отпечатком на металле, и потому у половины этих клейм имени не было вовсе: в цехе мастеров звали не по именам, а по знакам — «квадратный», «якорь», «тот, что с колесом».

В нижнем ряду, где висело самое мелкое, Гоибниу нашёл то, чего не искал.

Клеймо было шириной в ноготь и вырезано тонко, не по-здешнему: над двумя чертами сидела птица, и у неё было приподнято одно крыло. На обороте бирка была пустая. Не стёртая, не переписанная — пустая, как пустая клетка в графе, и в стене под ней зияло маленькое круглое углубление от вбитого когда-то штыря, которое потом залили оловом, а олово потемнело и обросло пылью.

— Ты чего встал? — спросил писарь цеха, у которого в руках была книга.

— Чьё это?

Писарь подошёл, посмотрел и ответил ровно, как отвечают на вопрос из книги:

— Ничьё. Клеймо есть, места нет. У нас такие висят сгоревшие: двор сгорел, значит, и место сгорело, а знак мы оставляем — знак же не виноват. Место пустует двадцать четыре года. В списке против него не стоит ни бирки, ни креста, а стоит прочерк, потому что вписывать туда нечего.

— А в книге?

— А в книге про этот двор выскоблено, — сказал писарь спокойно, и Гоибниу стало ясно, что он не первый, кто об этом спросил, и что писарь отвечает так давно и никогда не задумывался о своём ответе. — Я при книге не первый год, кузнец. Прочерк — это не «нет человека». Это «человека не было». Что ты хочешь: у нас в цехе двести лет считают место, а не человека. Место пустует — и хорошо, что пустует: за пустое место цех не отвечает.

Гоибниу стоял и смотрел на мелкую птицу с приподнятым крылом, вбитую в стену между двумя якорями, и впервые за двенадцать лет ему стало ясно, зачем он пришёл сегодня сам, до свидетелей. Не за время до морозов. Он пришёл сюда потому, что в этом городе у него не было ни строки, ни места, ни бирки, — а на стене висело клеймо, которое никто не снял, и оно было его рукой.

Он снял шапку и пошёл вглубь избы.

Гоибниу пришёл сам, до того как за ним пришли, и это Бальтазару Краму не понравилось: он хотел разбирательства, а не признания.

— Ты можешь сказать своё до того, как я позову свидетелей, — сказал он, сидя за столом на возвышении. За ним висел на стене цеховой список мест: сто двадцать три крючка с бирками, и семь из них были пустыми. — Зачем пришёл?

— Заключить сделку, — сказал Гоибниу. — Ты меня выслушаешь, потом позовёшь свидетелей.

Скамьи были полны: человек тридцать мастеровых, у кого работы было поменьше, пришли в цеховую избу, как ходят на похороны и на суд — за тем же. Писарь цеха сидел сбоку с книгой в переплёте и уже держал перо, не обмакнув. Курт из Шлачной сидел на первой скамье, потому что его вызвали, и на всякий случай держал шапку в руках.

— Говори, — сказал Бальтазар.

— Я не отдам под, — сказал Гоибниу. — И место на улице Гвоздей не отдам. У меня нет родни, и ты это знаешь, и в твоей книге это записано, — но, если бы дело было в родне, ты бы ко мне не пришёл. Родня тебе нужна не как доказательство. Ты хотел мой под.

По скамьям прошло шевеление.

— Продолжай, — сказал Бальтазар.

— За двенадцать лет у меня в поду стоит память пятидесяти восьми мастеровых твоего цеха, — сказал Гоибниу. — Я знаю их всех по рукам. Клёпочник Берт, который отдал мне за два молота три года, как он держал первую наковальню. Мастер Вернике с Клёпок — он отдал мне весну, в которую перевёл своё клеймо из круглого в квадратное, чтобы отцовский знак не путался с его собственным. Токарь Юльке отдал мне жену: не всю жену, а тот вечер, в который она согласилась. Я могу перечислять до темноты, и каждый в этой избе знает, правду я говорю или нет.

Он подождал, но в избе стало так тихо, что слышно было, как у кого-то на скамье скрипнул сапог, и этого скрипа хватило.

— Вы отдавали мне своё за железо, потому что я брал дешевле цеха, а цех брал за место, — сказал Гоибниу. — Вы платите трижды: мне за работу, цеху за место и Шлачной за то, чтобы ваш под вывезли и вам вернули совесть. Так двенадцать лет жил этот город, и это честная цена, я не спорю. Я спорить пришёл о другом. — Он повернулся к Бальтазару. — Я верну всё это даром. Пятидесяти восьми. До первых морозов, в твоей избе, при твоём писаре, по твоему списку.

В избе заговорили все сразу.

Писарь цеха встал первым, и голос у него был тонкий, но уверенный:

— Цеховая книга не должна знать того, зачем мастер стоит на месте. В этом вся сила цеха: место выше человека, потому что человек помнит, а место — нет. Если мастер начнёт помнить, зачем он здесь, он начнёт решать, быть ли ему здесь, и тогда у нас не цех, а собрание.

— Сядь, — сказал Бальтазар, и писарь сел.

Курт с Шлачной поднял руку, как в школе, и заговорил, не дожидаясь разрешения, потому что деньги в Гарме говорят раньше вежливости:

— Старший мастер, я вам скажу то, что вам и так известно, но вслух, потому что за это платят. Второй сорт у меня идёт из двух мест: с умерших кузниц и из ваших мастеровых, которые отдают цеху за место. Если он раздаст мастерам назад то, что они цеху отдали, у меня Шлачная обеднеет наполовину, а у вас мастера начнут знать, за что стоят. Это, старший мастер, не про память. Это про цену на железо в Гарме.

— Благодарю, — сказал Бальтазар. — Больше не надо.

Он встал, и в избе сразу стало слышно, как он встал, — так встают люди, которых слушают.

— Ты, кузнец, — сказал он, — сегодня первый за двадцать лет, кто пришёл ко мне в цеховую избу с чем-то, кроме жалобы. Я тебе отвечу по-цеховому. Условия: по моему списку — не по твоему. В моей избе — не у тебя. При писаре. И вернёшь всем, до последнего, потому

что если ты вернёшь одному и не вернёшь соседу, у меня в цехе начнётся свара, а свара мне дороже твоего пода. Морозы — в четверг: это твой срок, я его не продлю и не укорочу.

— Согласен, — сказал Гоибниу.

— И последнее, — сказал Бальтазар. — Я тебе не друг и не заступник. Ты получил время, а не право. Если после тебя в моей избе не окажется мастеровых — я тебя повешу на твоей наковальне, и весь Гарм скажет, что это по справедливости, потому что цех не может стоять на людях, которые знают, зачем они живут.

Он сел, и писарь цеха обмакнул перо.

Возвращать начали в тот же день.

Гоибниу говорил, а мастера слушали, и в цеховой избе не было ни одного, кто вышел бы оттуда прежним. Клёпочник Берт при Гоибниу «три года» сидел ровно, как сидят на морозе, а потом встал и вышел, и в тот же вечер снял своё клеймо с цехового крючка и ушёл в Лощину — там куют подковы, и там никого не спрашивают, зачем ему понадобилось ехать к брату, которого он двенадцать лет считал погибшим. Токарь Юльке слушал про вечер и смеялся, а к ночи пришёл к жене с цветами и весь следующий месяц спал в сенях, потому что она не могла простить ему двенадцать лет молчания. Мастер Вернике, самый упрямый человек на Клёпках, узнал про то, зачем он перековал клеймо, и заплакал, а наутро пришёл в цех и потребовал, чтобы отцовский знак вернули на место: «Я двенадцать лет кую не своим клеймом и думал, что это я такой умелый».

К четвёртому вечеру в цеховом списке было пять пустых крючков вместо семи, а в списке Бальтазара — сорок одна вычеркнутая строка из пятидесяти восьми.

Гоибниу выходил из цеховой избы в темноте, и его догонял писарь цеха, который по должности должен был его ненавидеть, а говорил другое:

— Слушай, кузнец. Я при книге двадцать шесть лет. Я тебе вот что скажу, и записывать не буду. У нас есть одно правило, которое с самого начала, и никто не помнит, откуда оно. Оно написано на первом листе цеховой книги, и мне его читал мой отец, а его отец — своему сыну: «Место держится тем, что человек отдал». Мы это понимаем, как «работой». Я двадцать шесть лет так и понимал.

— А теперь?

— А теперь я не знаю, — сказал писарь. — На первом листе нет слова «работой». Там просто «тем, что человек отдал». И я весь вечер думаю: а вдруг у нас в цехе сто двадцать три места и сто двадцать три человека, каждый из которых что-то в этом городе отдал, и цех наш — не мастерская, а под горна.

Гоибниу шёл домой и чувствовал спиной, как за ним идут глаза. Он выиграл время — до четверга, и это было всё, что он выиграл. Под у него оставался, цех его не тронет до морозов, а что будет делать цех в четверг, он не знал, и спрашивать было не у кого, потому что тот, кто мог бы ответить, ходил в сером плаще и не имел имени.

Дома его ждали три ящика под дверью, перевязанные верёвкой, и записка, писаная рукой Курта, крупно, для человека, который учился читать по накладным: «Второй сорт. Твой под, первый слой, за девять лет. Купил у цеха по цене лома и держу отдельно, потому что ты мне за него заплатил своим ремеслом, а не деньгами. Считай, что я вернул».

Три ящика стояли у стены, перевязанные верёвкой, и Гоибниу не открывал их до утра, потому что знал: если откроет ночью, просидит над ними до света.

Глава 7. Что стоит гвоздь

Утром он развязал первый. Верхний слой был светлый, как зола от берёзы, и в нём попадались крупинки темнее — те, что не дожглись. Гоибниу взял совок, отсыпал горсть и развёл горн так, как разводят, когда хотят не сделать, а посмотреть.

Горсть ушла в огонь, и белый свет пошёл вверх — слабый, не длиннее ладони.

Гоибниу смотрел на этот свет и понимал, что видит не человека.

В первый год, когда он начал работать один, ему объяснили: память, сожжённая в горне, оседает в поде; свежая держится крепко, со временем оседает; под надо чистить раз в год, и то, что сняли, сдают цеху, а цех продаёт на Шлачную. Он делал так двенадцать лет, честно, как делают все, и не спрашивал, куда идёт снятое.

Он спрашивал другое. Он весь день ходил по Гарму и смотрел на железо, которое делают из второго сорта, — потому что второй сорт идёт не в клинки, а в то, что есть в каждом дворе: гвоздь, скоба, ложка, дверная ручка, кольцо для колодца.

К вечеру он нашёл то, что искал, на улице Гвоздей, за восемь домов от своей кузницы.

Калитку держала скоба, кованая, узкая, с двумя хорошими расклёпками по концам. Гоибниу присел и посмотрел на неё близко, на свет, и узнал работу: скобу делали на Клёпках, из недожжённого, и в одном месте, где металл шёл тонко, сквозь тёмную окалину проступала светлая жилка. Он чиркнул по ней ногтем — и жилка отозвалась тем самым светом, который он утром видел над горном: слабым, коротким, как свечка под ветром.

Он сидел на корточках у чужой калитки, а мимо ходили люди, которые не знали, что через их улицу проходит железо с памятью.

— Калитку не смазывают, — сказала хозяйка, выйдя за водой и застав его. — Она у меня девять лет не скрипит, и мастер мне сказал, что скоба такая, что не заскрипит никогда. Хорошая скоба, я её не отдам.

— Хорошая, — сказал Гоибниу. — А кто её вам ставил?

— С Клёпок, — сказала женщина. — Пришёл в фартуке, всё сделал за полдня, взял мало. Слушай, кузнец, а чего ты на неё смотришь?

— Девять лет, — сказал Гоибниу. — Ты сказала: девять лет.

— Девять, — подтвердила она. — Как сын родился, так и поставили.

Гоибниу встал и пошёл домой, и дорога была недолгая, а он всё равно не успел додумать до конца, потому что думать было нечем: девять лет назад он приходил в цех и сдавал снятое с пода, потому что так делают все и потому что так честно. Девять лет назад с его пода сняли слой, где лежали обрывки тех дней, которые он взял у мясника Отто, у вдовы Лизбет, у старика с кольчугой, у людей, чьи имена он теперь писал в тетрадь. Это железо пошло на Клёпки, а с Клёпок — в скобы, гвозди и ложки по всему Гарму, и девять лет держит калитку на улице Гвоздей, и не скрипит, потому что в нём то, что не дожглось.

Всё это было законно. Всё это было по правилу. Всё это делал он сам.

На Клёпках он нашёл мастера, который ставил ту скобу, — но не потому, что мастер себя выдал, а потому, что на Клёпках все друг друга знают по работе: скоба была узкая, с двумя расклёпками, и её показывали Гоибниу сразу трое.

Мастеру было лет семьдесят, и он клепал уже плохо, то есть медленно и хорошо, и когда Гоибниу заговорил про железо, он не стал переспрашивать, о чём речь.

— Та партия, — сказал он. — Девять лет назад, с завода. Железо пришло мягкое, с блеском, я тогда ещё удивился: у нас в городе такого не делают, а тут привезли, и недорого. Из него ушло по дворам, кузнец, вот что: двадцать три тысячи гвоздей и двенадцать сотен скоб, и это я тебе называю по накладным, потому что накладные у меня лежат. Всё.

— Куда ушло?

— А куда у нас уходит гвоздь, — сказал мастер без всякого раздражения. — В забор, в подпол, в крышу, в лодку, в колодезное кольцо. Половина города стоит на этом железе, кузнец. Считай сам: девять лет назад Гарм на треть был деревянный, а теперь каменный, и весь этот камень к чему-то прибит.

— Я хочу его выкупить обратно.

Мастер посмотрел на него так, как смотрят на человека, который просит вернуть проданную зиму.

— Ты его не выкупишь, — сказал он. — Не потому, что дорого. Потому что гвоздь не спрашивают, из чего он. Гвоздь держит крышу, крыша держит хозяина, хозяин держит свой двор, двор держит улицу. Ты полезай на любую крышу и посмотри: там твоё железо в каждом третьем стропиле, и хозяин про это не знает и знать не хочет, потому что, если он это узнает — у него будет не крыша, а суд.

— А если я скажу вам, что в партии?

Мастер помолчал, потом снял с верстака клепь, которую держал в руке, положил её и накрыл ладонью, будто клепь могла убежать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.